

# МОРЕ ДЕРЖИТ СЛОВО



ДЕНИС ПОЖИДАЕВ

# Денис Пожидаев

## Море держит слово

<https://litres.ru/74682417>

SelfPub; 2026

### Аннотация

В мире, где воображение становится реальностью, можно нарисовать город и сочинить море. Можно создать что угодно. Кроме права полюбить врага.

Ада и Ян принадлежат семьям, для которых чужая фамилия — уже причина ненавидеть. Их учили держаться друг от друга подальше. Но как быть, если именно чужое воображение оказалось местом, где тебя впервые поняли?

Между ними — рисунки, музыка и слова, которые всё труднее оставить невысказанными. Вокруг — взрослые, уверенные, что знают, как лучше.

«Море держит слово» — история о первой любви в мире, где даже у невозможного есть автор.

# Содержание

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Пролог. Хор                                       | 4   |
| Часть первая. Чужой ответ                         | 7   |
| Глава 1. Окно без фамилии                         | 7   |
| Глава 2. Музыка не по поручению                   | 21  |
| Глава 3. Ступень, на которой можно<br>задержаться | 32  |
| Глава 4. Высокий борт                             | 43  |
| Глава 5. Взять настоящий лист                     | 53  |
| Глава 6. Собрать края                             | 64  |
| Глава 7. Пятнадцать минут                         | 75  |
| Глава 8. Человек на площадке                      | 86  |
| Часть вторая. Полные имена                        | 97  |
| Глава 9. Карта, которой недостаточно              | 97  |
| Глава 10. Капитан перед свадьбой                  | 109 |
| Глава 11. Не за тебя                              | 119 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                 | 124 |

# Денис Пожидаев

## Море держит слово

### Пролог. Хор

В пристани до сих пор спорят, кто из них первым нарисовал окно.

Мадель говорит: девочка. Спорить с Мадель никто не любит, поэтому обычно на этом всё и кончается. Но иногда кто-нибудь из морских напоминает, что окно без моря — это просто дыра в стене, а значит, считать надо с моря. Тогда спор начинается сначала. Дети, которые родились здесь и никогда не видели ни Корды, ни её мастерских, рисуют палкой на мокром песке окно и море сразу, одним движением. Они не понимают, о чём спорят взрослые.

Окно стоит на берегу до сих пор. Каменная рама без стены: в неё можно войти с любой стороны, и с любой стороны в ней будет море. Под этим окном лежат двое.

Мы расскажем, как это было. В Корде рассказывают иначе.

В Корде, старом городе на реке, жили две семьи, равные в гордости и в мастерстве. Обе умели делать миры. Не картинки и не песни, а места, где живут: где пекут хлеб, ссорятся из-за ведра, рожают детей, хоронят стариков. Когда-то эти

семьи сделали один мир вместе. В нём под рухнувшей галереей погибли двадцать четыре человека. С тех пор вместе они не сделали ничего, кроме молчания.

У одной семьи была дочь, которая рисовала города. У другой — сын, который писал музыку о море. Им не полагалось знать друг друга. Они и не знали. Она оставила в школьном альбоме окно, за которым ничего не было, и подписалась запятой. Он поставил за окном ночное море и подписался ферматой — знаком, который велит музыканту держать ноту, сколько хватит дыхания.

Из окна выросла лестница, из лестницы — пристань. На пристани нашлось место для тех, кому некуда было вернуться. Для женщины, которая не хотела назад. Для мальчика, который очень хотел домой. Для корабля, который держался на воде только потому, что один человек когда-то дал клятву, которую не собирался исполнять.

Они строили её семьдесят семь дней.

А в самую короткую ночь года их отцы написали на полях по одной строке. Каждый своей рукой, каждый со своей правдой, каждый из любви. Одна строка велела кораблю привезти детей домой. Другая запрещала кораблям входить в город. Каждая по отдельности была спасением. Вместе они исполниться не могли.

Там, откуда пришёл корабль, есть закон: судно держится на воде, пока держится его слово. Море держит слово. Даже когда лучше бы оно его нарушило.

Это не тайна, и мы не станем делать из неё тайну. Чем всё кончилось, здесь знает каждый ребёнок.

Тайна в другом. Как за семьдесят семь дней двое успели поссориться и помириться, накормить чужих людей, спасти корабль, научиться танцевать под его днищем, назвать любовь по имени — и ни разу ни в чём друг другу не поклясться.

Слушайте. Сначала было окно.

# Часть первая. Чужой ответ

## Глава 1. Окно без фамилии

*Ада*

Раз в год Корда приходила посмотреть на мёртвых.

Приходила нарядная, с цветами в бумажных кульках, вытирала ноги о мокрые половики Хранилища и поднималась по широкой лестнице в Большой зал, где пахло воском и старым клеем. Здесь говорили шёпотом. Шептали, впрочем, о погоде, о ценах на уголь и о том, что у вдовы Лаак новая шляпа. Мёртвые давно привыкли.

Ада стояла в третьем ряду, между матерью и бабушкой, и считала, сколько раз за последние десять минут ей хотелось почесать нос. Выходило семь. Чесать было нельзя: Ровели в День Сада не чешутся, не зевают и не переминаются, потому что на Ровелей смотрят. На них смотрели и сейчас — вся левая половина зала, где стояли люди, работавшие у отца, и вся правая, где стояли люди, работавшие у Тарнов. Между половинами оставалась полоса пустого паркета шириной в два шага. Её никто не огораживал. Её никто не переступал.

Отец стоял впереди, у самого окна. Ада видела его затылок, широкие плечи в тёмном сюртуке и правую руку, которая на спине сжимала левую. Так он стоял над чертежом, ко-

гда не мог найти ошибку.

Окно занимало всю торцевую стену. Это был не лист и не стекло, а то и другое сразу: огромная страница смотрового окна в дубовой раме, такая тонкая, что сквозь неё было видно, и такая старая, что по краям она пожелтела, как зубы курильщика. За ней лежал Сад.

Сад без зимы. Террасы, уходящие вниз, ряды деревьев, грядки, мастерские с голубыми дверями, а над всем этим светлая крыша из тысяч стеклянных секций, похожая на крыло стрекозы. Сквозь крышу падал ровный тёплый свет. В Корде шёл апрельский дождь со снегом, а там цвели яблони.

Восточная часть Сада жила. Западная — нет.

Даже отсюда было видно, где кончается одно и начинается другое. Над западными террасами секции крыши стояли ко-со, некоторые были выбиты совсем, и под ними росла серая трава, какая бывает на пепелище. Посередине, там, где террасы сходились, лежало то, что когда-то было низкой галереей: груда камня и железа, аккуратно расчищенная по краям и нетронутая в середине.

У галереи стояли люди. Жители Сада. Они тоже пришли с цветами.

Ада всегда забывала об этом и всякий раз вспоминала заново, с неприятным толчком под рёбрами. Там, внутри, это тоже был день памяти. Там тоже читали имена. Женщина в синем фартуке положила к камням охапку чего-то жёлтого, выпрямилась и посмотрела вверх, прямо в окно, прямо на

них. Видела она их или нет, Ада не знала. Никто не знал наверняка.

— Не смотри так, — шепнула мать, не поворачивая головы. — У тебя лицо делается.

— Какое?

— Такое.

Сабина Ровель умела говорить, не двигая губами. Это было единственное её умение, которому Ада завидовала.

За ширмой в углу зала заиграли. Поминальную песнь Сада играли каждый год одну и ту же: четыре голоса, медленный ход вниз, как вода по ступеням, и на восьмом такте долгое падение, после которого полагалось опустить глаза. Ада знала её наизусть, как знала наизусть трещину на потолке своей спальни. Она приготовилась опустить глаза.

Падения не случилось.

На восьмом такте один голос — высокий, кажется, струнный — не пошёл вниз. Он остался наверху и держал ноту. Держал, пока остальные три спускались без него. Держал, когда им уже было некуда спускаться. Держал так долго, что женщина впереди Ады забыла опустить голову и подняла её. А потом отпустил и догнал остальных в последнем такте, будто ничего не было.

По залу прошёл звук, который бывает, когда сто человек одновременно решают, что им показалось.

Бабушка Эстер рядом коротко хмыкнула в нос.

— Кто-то там, за ширмой, — сказала она очень тихо и

очень довольно, — решил, что мёртвым надоело одно и то же.

— Мама, — сказала Сабина, не двигая губами.

— Что «мама»? Хорошо же.

Ада ничего не сказала. Нота всё ещё висела у неё где-то за ухом. Она поймала себя на том, что пытается представить, как бы это выглядело, если нарисовать: лестница, по которой все спускаются, и одна ступенька, которая не спускается. Получалась ерунда. Она вытащила из кармана маленький блокнот, куда записывала нелепые объявления («Продаётся пианино. Тихое»), и нарисовала ступеньку на полях. Ступенька тоже вышла ерундой.

Хранитель Давен вышел к окну с листом в руках. Он был высокий, сухой, с лицом человека, который всю жизнь читал мелкий шрифт. Читал он без выражения, ровно, как будто пересчитывал ящики на складе. Ада подумала, что именно поэтому его и терпят обе семьи.

— Томас Тарн, — прочёл он. — Двадцать два года.

Правая половина зала стала очень тихой. Ада, не удержавшись, посмотрела туда. Высокий мужчина впереди Тарнов, седой у висков, с длинными пальцами, стоял неподвижно. Габриэль Тарн. Она видела его каждый год и каждый год удивлялась, что у человека, о котором дома говорили таким тоном, такое обыкновенное лицо. Усталое. Похожее на лицо её учителя арифметики.

Дальше шли жители. Давен читал их имена так же ров-

но: Ирис Валле, сорок один год. Петер Ост, девять лет. Ада считала. На девятнадцатом она заметила, что бабушка рядом шевелит губами. Не молится, нет. Губы Эстер двигались чуть раньше, чем Давен произносил имя. Она их помнила. Не все — некоторые. Ада не знала, что бабушка помнит их имена. Почему-то от этого стало холоднее, чем от снега за дверью.

Двадцать три. Двадцать четыре вместе с Томасом. Давен свернул лист.

Потом было обычное: шорох, кашель, разговоры, которые начинаются сразу у двери, как будто их сдерживали. Люди двинулись к выходу двумя потоками, левым и правым. У двери потоки сошлись, потому что дверь была одна. И у двери, как каждый год, отец и Габриэль Тарн оказались в шаге друг от друга.

Как каждый год, оба сделали вид, что не замечают. Как каждый год, это не получилось.

— Всё ещё считаешь живых, Ровель? — спросил Тарн. Негромко. Так, как спрашивают дорогу.

Отец даже не повернул головы.

— А ты всё ещё держишь мёртвых, Тарн?

В вестибюле Хранилища было человек двести. Ада услышала, как где-то в конце зала уронили зонт. Больше ничего слышно не было.

— Пойдём, — сказала мать, взяв её под локоть пальцами, которые были твёрже, чем казались. — У нас ещё обед.

\* \* \*

Обедали наспех и наверху, в мастерской, потому что отец сказал: «Раз уж день всё равно пропал». Он всегда так говорил после Дня Сада, и день у него всегда пропадал одинаково: до темноты за большим столом под стеклянной крышей, где капли дождя стучали, как пальцы нетерпеливого заказчика.

На столе лежала Эрта.

Двадцать шесть больших листов, сшитых пока только по краю. Город, который Ада придумывала второй год: дома с высокими крыльцами, мосты на поворотных опорах, лестницы с перилами из чёрного железа, площадь посередине. Город, который каждую ночь танцует. Утром ты просыпаешься, а за окном другая улица, другой сосед, другой вид. Хочешь остаться рядом с кем-то — выходи вечером на порог, бери соседа за руку, и ваши дома проведут ночь рядом. Не хочешь — не выходи.

Ада придумала это в четырнадцать лет, в ночь после того, как полчаса просидела за столом с гостями отца, которые трижды назвали её «наша будущая Эстер». Ей тогда очень хотелось, чтобы её дом уехал куда-нибудь ночью.

— Вот здесь, — сказал отец и положил палец на Крайний спуск. — Видишь?

Она видела только длинную лестницу на краю города, свою любимую, с каменными ступенями, стёртыми посередине.

— Что?

— Мост у Каменного двора уходит на ходу влево. А лестница поворачивает тоже влево. Им некуда разойтись. В первую же ночь они упрутся друг в друга, и у тебя на краю города будет каша из перил.

Он был прав. Он почти всегда был прав, и в этом было самое неприятное. Ада наклонилась над листом, увидела, как мост и лестница сходятся, и почувствовала, как от шеи вверх поднимается горячее. Она смотрела на этот угол неделю и не видела.

— Как ты это...

— Тридцать лет смотрю. Поддержать?

Он протянул ей угольник. Ада держала, пока он размечал новую опору моста лёгкими карандашными штрихами, и следила за его рукой. Руки у отца были большие, а линии получались тонкие, как волос. Потом он отдал ей карандаш.

— Ладно. Дальше сама.

Это было лучшее в нём. «Дальше сама». Он говорил так, когда ей было шесть и она рисовала кошку с пятью ногами: показывал, где ошибка, и отдавал карандаш. Ада перевела опору, и мост с лестницей разошлись, как два человека в узком коридоре, вежливо, плечом к плечу. Она откинулась на стуле. Хорошо. Действительно хорошо.

Отец тем временем смотрел на Площадь Шагов.

Площадь у Ады была неправильная. Кривая, как клякса, с выступами и закоулками. Это нарочно: на площади танцуют, и Аде хотелось, чтобы люди в танце сталкивались, наты-

кались друг на друга, извинялись и знакомились. Она даже написала об этом полстраницы.

— Так, — сказал отец и взял карандаш обратно. Не спросив. Просто взял, как берут свою вещь.

Три движения. Площадь стала овалом. Ровным, красивым, с двумя полукружьями колоннад, в которые музыка уходила бы, как в раковину. Ада видела, что это красиво. Это было гораздо красивее, чем её клякса.

— Пап.

— Посмотри, как теперь пойдёт звук. А танцующим будет просторнее.

— Я хотела, чтобы им было тесно.

Он посмотрел на неё поверх листа. Не сердито — внимательно, как смотрят на ученика, который сказал что-то непонятное, но, возможно, умное.

— Зачем?

— Чтобы они сталкивались.

— Люди, Ада, сталкиваются и на ровной площади, — сказал он мягко. — Поверь мне. — И вернулся к своему столу.

Она осталась сидеть над овалом. Можно было стереть. Карандаш стирается. Но стереть значило признать, что её клякса была лучше, а она не была лучше, вот в чём беда. Она была просто её.

Мать поднялась с подносом, на котором остывал чай.

— О, — сказала Сабина, поставив поднос на угол Эрты, и Ада машинально сдвинула его на чистое место. — Площадь

новая? Леон, это прелесть. Ада, к весеннему показу это будет лучшая работа года, ты понимаешь? Я уже вижу, как развесить листы: Крайний спуск отдельно, у окна, чтобы свет...

— Она не готова.

— Будет готова.

— Мама, я не хочу на показ с Эртой.

— Почему? — искренне удивилась мать. И Ада не смогла объяснить. Не смогла сказать, что хочет однажды узнать, нравится ли кому-нибудь её работа, если не знать, что это работа Ровелей. Что хочет услышать «плохо» от человека, которому всё равно, чья она дочь. Что половина Эрты теперь — отцовская, и она уже сама не знает, какая половина.

— Потому что площадь не моя, — сказала она в итоге. Получилось по-детски. Мать улыбнулась, как улыбаются по-детски сказанному, и поправила ей прядь, которая всё время падала на лицо.

\* \* \*

В Городской мастерской на Ступенях к вечеру пахло скипидаром, горячим железом и мокрыми плащами. Внизу, в печатне, гремел станок. Нелла стояла у него в кожаном фартуке до колен и в нарукавниках, с чёрной полосой на щеке, и держала оттиск на вытянутых руках, как держат пойманную птицу.

— Не подходи, — сказала она, не оборачиваясь. — У тебя рукав в краске.

— У меня всегда рукав в краске.

— Вот поэтому.

Нелла была на полголовы выше Ады, тощая, с короткими светлыми волосами, которые стригла сама, ножницами для бумаги. Они дружили с девяти лет, с того дня, когда Ада нарисовала на школьной парте карикатуру на учителя, а Нелла сделала с неё оттиск и продала двенадцать штук по медяку. Их поймали обеих. Нелла потом говорила, что Ада испортила хорошее дело своей подписью.

— Это для Орсо? — Ада заглянула издали.

Мастер Орсо держал лучшую печатню в Нижнем городе и раз в год брал одного ученика на оплачиваемое место. Нелла хотела это место так, как Ада не умела хотеть ничего, — тихо, упорно, каждый день.

— Пробный лист. Завтра к девяти. — Нелла повесила оттиск на верёвку и наконец обернулась. — А у нас уборка в изобразительном. Ты помнишь?

Ада помнила. После вечернего разбора кто-то должен был отмыть столы, собрать кисти и вынести воду. Сегодня была их очередь. Она помнила об этом с утра и всё время отодвигала, как отодвигают с края тарелки разваренный лук.

— Полчаса, — сказала она. — Мне нужно в Зал. Полчаса, и я вернусь.

Нелла посмотрела на неё. Взгляд у неё был плоский и внимательный, как у человека, который проверяет оттиск на смазанные буквы.

— Твои полчаса или настоящие?

— Настоящие.

— Ладно, — сказала Нелла. — Тогда я начну со столов.

\* \* \*

Зал незаконченного был длинный, полутёмный и почти всегда пустой. Высокие окна с частым переплётom, вдоль стен шкафы с недоделанными вещами, на которые никто не претендовал: модель моста без середины, глиняная голова без затылка, ящик с надписью «НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО ВЕСНЫ» неизвестно какого года. В середине зала, на наклонной подставке, лежал Альбом.

Альбом незаконченного был старше Мастерской. Огромный, в коже, которая пошла трещинами, как старая дорога, с медными уголками, стёртыми до красного. В нём не было ни одной законченной работы. Это было правило, единственное, которое соблюдали все: в Альбом кладут начатое. Подписываются знаком, а не именем. Кто угодно может продолжить. Закрашивать можно, но покрашенное всё равно пропускает: бумага у Альбома такая.

Ада любила листать его с двенадцати лет. Здесь были наброски, которым по сорок лет: начало реки, половина лица, чья-то улица, по которой так никто и не прошёл. Были продолжения, сделанные через двадцать лет после начала, и продолжения продолжений. Были знаки: звёздочка, птичий след, буква в кружке, перевёрнутый ключ. Кто они, никто не знал. В этом и было дело.

Она перелистнула до первого чистого разворота.

Карандаш, мягкий, тот, что лучше всего ложится на эту бумагу. Она не стала думать. Если думать, начнёшь делать красиво, а красиво она умела, этому её учили лучшие мастера Корды, и от этого красивого её уже немного тошнило.

Окно.

Каменная рама, глубокая, с широким подоконником, на котором удобно сидеть, подтянув колени. Частый переплёт. Одна створка приоткрыта. Немного трещин в камне, потому что окна без трещин бывают только на показах. Слева на подоконнике она нарисовала оставленную кем-то чашку, потом подумала и чашку закрасила. Чашка проступила. Пусть будет.

А за окном она не нарисовала ничего.

Это оказалось труднее всего. Рука сама тянулась поставить туда крыши, или дерево, или хотя бы горизонт. Она держала руку, как держат собаку за ошейник. Белое. Пусть будет белое. Пусть кто-нибудь другой решит, что там. Кто-нибудь, кто не знает, что это рисовала Ровель, и потому может написать под ним «скучно», или «зачем», или поставить за окном стену. Ей хотелось этого почти так же сильно, как боялась.

Внизу, там, где подписываются, она поставила знак. Она придумала его прямо сейчас, и он ей сразу понравился. Запятая. Маленькая, жирная, с хвостиком.

Продолжение следует. Только не мной.

Ада отступила на шаг. Окно смотрело на неё пустотой, и ей вдруг стало так неловко, словно она вышла на улицу без

юбки. Захотелось захлопнуть Альбом. Она не захлопнула. Постояла ещё немного, разглядывая проступившую чашку, и подумала, что надо бы сделать подоконник чуть шире. Не сделала. Если начать улучшать, она будет улучшать до утра.

Часы над дверью Зала показывали без десяти девять.

Она пришла в половине восьмого.

\* \* \*

В изобразительном зале было чисто. Так чисто, как никогда не бывает после разбора: столы отмыты, кисти стоят в банках ручками вниз, вода вынесена, пол подметён. Нелла ушла. На Адином стуле стояла прислонённая метла. На метле, проткнутая щетиной, висела записка, написанная наборным шрифтом — Нелла, когда сердилась, писала печатными буквами, ровными, как солдаты:

«ЭТО БЫЛИ НЕ ПОЛЧАСА».

Ада постояла над метлой. Потом сняла записку, сложила её вчетверо и убрала в блокнот, между «Продаётся пианино. Тихое» и «Найдена вставная челюсть. Обращаться к булочнику». Завтра она что-нибудь придумает. Принесёт Нелле пирог из лавки на Мокрой. Или нарисует ей вывеску для будущей печатни, Нелла давно просила. Что-нибудь.

Подумав про пирог, она почувствовала себя ещё хуже, потому что знала, что Нелла скажет про пирог.

Перед тем как уйти, она всё-таки вернулась в Зал незаконченного. Свет там уже не горел. Она зажгла фитиль у входа пальцем и коротким словом, подошла к Альбому, не зная

зачем, и посмотрела.

Окно было на месте. За ним по-прежнему ничего не было.

Ада подумала, что это, пожалуй, самое честное, что она сделала за год. И самое глупое. Кто-нибудь придёт завтра, увидит пустое окно и нарисует за ним кирпичную стену. Или пейзаж с коровами. Или вообще не заметит.

Она погасила фитиль и ушла домой под мокрым снегом, гадая, кто это будет.

## Глава 2. Музыка не по поручению

Ян

Восьмой такт Ян держал, пока не кончилось дыхание у смычка.

Это было неправильно с первой же доли, и он знал это заранее. Знал ещё утром, когда Мара, красная от жара, хрипела из-под одеяла: «Партия простая, ты её слышал сто раз, просто иди вниз со всеми». Знал, когда садился за ширму в углу Большого зала Хранилища, между старым альтистом Фельдом, от которого пахло камфарой, и девочкой с виолончелью, которая боялась так, что у неё стучали зубы. Знал, когда начали.

Песнь Сада спускалась вниз, как вода по ступеням. Четыре голоса, ровный шаг, ничего лишнего. Ян играл верхний голос, Марин, и к седьмому такту понял, что ненавидит восьмой. Не музыку — само падение. Все четыре голоса летели вниз, как будто их толкнули, а потом все опускали глаза, и всё. Каждый год. Восемнадцать лет.

На восьмом такте он не пошёл вниз.

Он держал ноту. Чувствовал, как Фельд рядом перестал дышать. Видел краем глаза, как девочка с виолончелью уставилась на него, раскрыв рот, и всё-таки поехала вниз, умница. Три голоса спускались, а его голос стоял над ними, как фонарь над лестницей, и это было так хорошо, что у него за-

болели пальцы. Он держал, пока смычок не дошёл до самого конца. Потом отпустил и одним скользящим движением догнал остальных в последнем такте.

За ширмой стояла тишина особого рода — та, что бывает, когда сто человек одновременно решили, что им показалось.

— Мальчик, — сказал Фельд одними губами, — ты сумасшедший.

— Это фермата, — шепнул Ян. — Просто фермата.

— Это не твоя фермата, — сказал Фельд. — И не твоя песня.

\* \* \*

Отец ничего не сказал ни в Хранилище, ни в экипаже. В экипаже вообще никто ничего не сказал. Мать смотрела в окно на мокрые крыши. Отец смотрел перед собой. Ян смотрел на свои колени и сочинял марш человека, которого сейчас будут убивать за одну ноту. Марш выходил бодрый, на две четверти, с барабаном. Это помогало.

Дома отец снял мокрый плащ, повесил его на крюк ровно, плечом к плечу, как вешал всегда, и сказал:

— Зайди в зал.

Зал инструментов у Тарнов занимал весь первый этаж, бывший лодочный склад, когда-то выходивший прямо на реку. Высокий потолок, балки, по стенам — шкафы с нотами и футлярами. Два больших клавира у окон, один старый, с пожелтевшими клавишами, другой новый, на котором никто не любил играть. В углу арфа под чехлом, похожая на при-

видение. Пахло канифолью, воском и рекой: Вельта стояла под самыми окнами, серая, высокая, весенняя.

Отец сел за старый клавир. Ян встал рядом. Отец не повернулся.

— Восьмой такт, — сказал он.

— Да.

— Зачем?

Ян знал, что лучше всего было бы сказать «случайно». Отец бы не поверил, но это дало бы ему возможность сделать вид. Ян открыл рот, чтобы сказать «случайно», и сказал:

— Потому что все восемнадцать лет они падают. Каждый год. Мне показалось, один голос может не падать. Задержать-ся. Подождать остальных наверху.

Отец долго молчал. Потом положил руки на клавиши и сыграл восьмой такт. Правильно, вниз. Медленно. Четыре голоса, все вниз.

— Ты знаешь, чей это голос? — спросил он, не поднимая глаз. — Верхний.

Ян не знал. Он покачал головой, потом понял, что отец не видит, и сказал:

— Нет.

— Томаса. — Отец снял руки с клавиш. — Я писал Песнь в ту весну. Верхний голос — его. Он играл на скрипке, как ты. Хуже тебя, если честно. — Что-то сдвинулось в его лице и тут же встало на место. — Этот голос не держат, Ян. Он уходит вниз вместе со всеми. Он не возвращается.

Ян стоял и не знал, куда девать руки. Он хотел сказать, что не знал. Что, если бы знал, он бы ни за что... Это была бы неправда. Если бы знал, он бы, наверное, держал ещё дольше. И отец, кажется, это понял, потому что посмотрел на него впервые за всё утро — длинно, устало, так, как смотрят на инструмент, который вдруг начал звучать по-своему.

— Сыграй со мной, — сказал он.

Они сыграли в четыре руки «Утренний ход», старую вещь, которую отец переложил для них, когда Яну было девять. Отец вёл басы, Ян — верх. Отец ошибся в одном месте, засмеялся, сказал «стой, ещё раз отсюда». Сыграли ещё раз.

— Мне этот переход нравится, — сказал отец в середине, где тема уходила в минор и возвращалась. — Ты его тогда придумал, помнишь? В девять лет. Я ничего не стал менять.

Ян помнил. Он помнил это лучше, чем свой девятый день рождения. От этого в нём что-то подалось, как подаётся лёд на реке, — тихо и сразу.

Потом отец встал, закрыл крышку клавира и сказал уже другим голосом, обыкновенным:

— Мара не встанет до конца недели. Её партитура к весеннему показу. Закончишь?

— Я... — Ян посмотрел на стол у окна, где под стеклянным грузом лежала его собственная тетрадь. Синяя. Толстая. Море. Он не открывал её десять дней. — У меня своя к показу. Я хотел...

— Твою ты закончишь к следующему году. Она никуда не

денется. — Отец уже шёл к двери. — А Мариной нужен человек, который знает, как она пишет. Это ты. На тебя можно положиться.

На тебя можно положиться. Это было лучшее, что Ян слышал от отца в своей жизни. Он слышал это много раз.

— Хорошо, — сказал он.

— Вот и славно, — сказал отец. — И, Ян. Песнь Сада больше не трогай.

\* \* \*

Мать заглянула через час с подносом, на котором стоял чай и тарелка с хлебом и сыром. Поставила на угол стола, увидела, что угол мокрый от чьей-то кружки, сдвинула и подложила салфетку.

— Чья папка? — Она кивнула на серую папку у окна. — Уберите с края, здесь мокро.

— Марина.

— Тогда тем более уберите.

Инесса Тарн знала, где в доме лежит каждый лист и сколько ему лет. Ян переложил папку. Мать постояла, глядя, как он работает, и Ян ждал, что она спросит про восьмой такт. Она не спросила. Только положила ему руку на плечо, легонько, на секунду, и вышла.

Наверху Мара, хрипя, кричала через пол:

— Ян! Ян, ты там? Во второй части, где модуляция, оставь как есть, я потом сама! И найди мою зелёную тетрадь, она где-то... ну, где-то!

— Где-то — это где?

— Ну где-то! Ты же всегда находишь!

Он находил. Зелёная тетрадь лежала под подушкой кресла в гостиной, куда Мара её засунула неделю назад. Он отнёс тетрадь наверх. Мара, завёрнутая в два одеяла, с распухшим носом, схватила её и поцеловала в обложку.

— Ты лучший брат на свете, — сказала она в нос. — Слушай, раз уж ты всё равно сидишь над второй частью, может, ты и третью...

— Мара.

— Немножко. Чуть-чуть. Там только переходы.

Ян посмотрел на неё. Она была старше на шесть лет, и когда ему было десять, именно она садилась с ним вечером за клавиш и учила его смешным песенкам, которые нельзя было петь при родителях. Она первая сказала ему, что его вещи хорошие. Не «правильные» — хорошие.

— Вторую, — сказал он. — И переходы в третьей. Не всю третью.

— Ты зануда, — нежно сказала Мара и шмыгнула носом. — Иди.

\* \* \*

На второй день Сава вытащил его на реку.

Это было не обсуждаемо. Сава появлялся у задней двери Тарнов раз в неделю, в любую погоду, стучал три раза, потом ещё раз — так стучат только он и почтальон, но почтальон стучит вежливее, — и говорил: «Лодка». Лодка была Сави-

ного хозяина, старого инструментального мастера Гриффа, и хозяин разрешал её пользоваться при условии, что её вернут с той же краской на бортах. Краски на бортах почти не было. Условие выполнялось легко.

Апрель стоял серый, но без снега. Вельта была широкая, медленная и пахла талой водой. Они выгребли на середину, бросили вёсла и легли — каждый на свою банку, головой к своему борту, ногами друг к другу. Сава жевал пирожок с капустой. Второй он отдал Яну, но Ян держал его в руке и забыл есть.

— Ну, — сказал Сава с полным ртом. — Ты молчишь, как будто тебя обокрали.

— Меня не обокрали.

— Значит, сам отдал. — Сава проглотил. — Опять Мара?

— Опять Мара. И отец. И Песнь Сада.

— А что с Песнью?

Ян рассказал про восьмой такт. Сава слушал, лёжа на спине, и смотрел в небо. Когда Ян дошёл до Томаса, Сава перестал жевать.

— Ну, ты влип, — сказал он с уважением. — Ты ему брата вернул на пять секунд, а он тебе за это Марину партитуру.

— Он не так это... Это просто так совпало.

— Ага, — сказал Сава. — Совпало.

Помолчали. Лодка медленно поворачивалась на течении. Мимо прошла баржа с углём, с баржи им что-то крикнули, Сава лениво помахал. Ян откусил наконец пирожок. Капуста

была холодная и кислая, как надо.

— Мне написали из Лиры, — сказал Сава.

Ян перестал жевать.

— Из Лиры.

— Мастер Тиан берёт учеников. Двоих. Я послал ему свою скрипку, ту, с кривой декой, помнишь? Он ответил. Сказал: дека кривая, но голос есть. Сказал: приезжай летом.

Лира была за четыре дня пути на юг. Лира — это где делают лучшие инструменты в мире. Ян знал это так же хорошо, как Сава. Он знал, что должен сказать «поздравляю» — сразу, первым словом. Он открыл рот и сказал:

— А как же...

Сава приподнялся на локте.

— Как же что?

— Ну. Грифф. Мастерская. Лодка.

— Лодка, — повторил Сава. — Ты хотел сказать «а как же я», только постеснялся.

— Я хотел сказать «лодка».

— Ты хотел сказать «а как же я, кто будет вытаскивать меня на реку, когда отец даст мне ещё одну Марину партитуру». — Сава снова лёг. — Я тебе скажу как. Никак. Сам будешь вытаскиваться. Тебе семнадцать лет.

Это было обидно и смешно сразу. Ян лёг тоже и долго смотрел на серое небо, по которому шли низкие облака, ровные, как строчки в нотной тетради.

— Поздравляю, — сказал он наконец.

— Опоздал, — сказал Сава. — Но принимается.

\* \* \*

Мастерская на Ступенях вечером гудела, как улей. В звучальне, музыкальном крыле, кто-то в третьем классе мучил гамму, в пятом пели, в подвале стучал станок печатни. Ян нёс под мышкой готовую вторую часть Мариной партитуры и переходы из третьей. Нести надо было в переписочную, на другой конец здания, а короче всего туда было через Зал незаконченного.

Он не любил этот зал. Там было слишком много начатого и брошенного. Ян, который всегда всё доделывал, смотрел на брошенное, как врач смотрит на чужие запущенные болезни.

Альбом лежал на подставке открытым. Обычно его закрывали.

Ян остановился, потому что открытый альбом — это непорядок, а непорядок он замечал раньше, чем успевал решить, его ли это дело. Подошёл. Хотел закрыть.

Окно.

Каменная рама, глубокая, с подоконником, на котором удобно сидеть. Частый переплёт, приоткрытая створка, трещины в камне, слева проступает закрашенная чашка. Нарисовано хорошо, очень хорошо, лёгкой и уверенной рукой, которая умела гораздо больше, чем здесь показала. А за окном — ничего. Белая бумага.

Внизу знак. Запятая.

Ян стоял и смотрел, и первое, что он почувствовал, было

раздражение. Окно, за которым ничего нет, — это не незаконченное. Незаконченное — это когда человек не успел. А здесь успел и нарочно оставил. Это не начало, это вызов. Как если бы кто-то сыграл тебе первую фразу и остановился, глядя в упор: ну?

У него было два часа до ужина. Ему нужно было отнести партитуру, вернуться домой и сесть за переходы в третьей части, потому что вторую он закончил, а переходы — нет. Он считал это время с утра, как считают деньги до конца месяца.

Карандаш лежал на подставке, в желобке, на тонкой цепочке, чтобы не унесли.

Ян положил партитуру на пол.

Он не стал думать, потому что, если думать, он нарисовал бы что-нибудь правильное. Он просто начал с нижнего края окна. Не крыши, не деревья, не улицу, которую окно, наверное, ждало. Воду. Сначала одну линию — горизонт, низкий, почти у подоконника. Потом под ней темноту. Ночь. Он штриховал, пока бумага за окном не стала глубокой, как вода в Вельте в ноябре. Потом мелкой рябью по верху. Потом, далеко-далеко, у самого края рамы, три огонька — фонари на мачте. Корабль, который идёт по своим делам и не знает, что на него смотрят.

Он нарисовал море так, чтобы оно подходило к самому окну. Вплотную. Чтобы, если открыть створку пошире, вода плеснула бы на подоконник.

Пусть попробует теперь закрыть.

Подпись. Он колебался секунду. Имя нельзя, это правило зала. Нужен знак. Ян посмотрел на запятую, маленькую, жирную, с хвостиком, и ему захотелось ответить чем-нибудь таким же коротким. Чем-нибудь, что значит обратное.

Он поставил фермату: дугу, а под ней точку. Знак, который велит держать ноту, сколько хватит дыхания.

Потом он поднял партитуру с пола, отряхнул её и посмотрел на часы над дверью. Двадцать минут. Он потерял двадцать минут из двух часов. Значит, переходы в третьей части он будет доделывать после ужина, до часу ночи, а может, до двух.

Ему было всё равно. Он шёл по коридору в переписочную и улыбался так, что встречный пятиклассник с футляром посмотрел на него с подозрением. В голове играл марш: на шесть восьмых, лёгкий, с подскоком. Марш человека, который двадцать минут делал то, что ему никто не поручал.

Ян поймал себя на мысли, что ему весело. Он попытался вспомнить, когда ему в последний раз было весело просто так, без того, чтобы кто-то сказал «спасибо» или «на тебя можно положиться». Вспомнить не смог.

Переходы он закончил в два часа ночи. Утром Мара сказала, что они идеальные. Ян пил чай и думал о том, что кто-то, наверное, уже видел его море. И что этот кто-то, наверное, злится.

Он очень на это надеялся.

## Глава 3. Ступень, на которой можно задержаться

*Ада*

Море подошло к самому подоконнику.

Ада стояла над Альбомом, держа сумку обеими руками, как будто сумка могла от неё убежать, и смотрела. Было восемь утра, в Зале незаконченного пахло холодной печью, и за её окном, за её пустым, честным, беззащитным окном, лежала ночь.

Кто-то взял её белое и сделал его тёмным. Не крыши, не коровы, не кирпичная стена — вода. Глубокая, тяжёлая, заштрихованная так плотно, что карандаш местами лоснился. По верху шла мелкая рябь, лёгкая, как дыхание. Далеко, у самого края рамы, горели три огонька — один над другим, мачтовые фонари. Корабль. Он шёл куда-то по своим делам и не обращал на окно никакого внимания.

А вода стояла у самого подоконника. Вплотную. Казалось, если толкнуть приоткрытую створку посильнее, она плеснёт на камень, на проступившую чашку, тебе на рукав.

Первое, что почувствовала Ада, — злость. Чистую, весёлую, как от пощёчины в игре.

— Ну и где тут жить? — сказала она вслух пустому залу.

Окно — это же для того, чтобы из него смотреть. Значит, внутри дом, а в доме кто-то живёт. А этот кто-то, неизвест-

ный, с хорошей твёрдой рукой, просто взял и затопил улицу. Подвёл море к стене, как подводят лодку к причалу, и оставил: разбирайтесь. Ни берега, ни ступеньки, ни камня, куда поставить ногу. Из такого окна можно только смотреть или прыгать.

Второе, что она почувствовала, было хуже. Ей понравилось.

Ей понравилось так, что захотелось сесть прямо на пол. Море было правильное. Оно было лучше всего, что она сама поставила бы за окно. Она поставила бы город, конечно, — она всегда ставила город. А этот кто-то увидел в её окне то, чего она не видела: что окно, у которого такой широкий подоконник, наверное, смотрит на воду. Что на таком подоконнике сидят, подтянув колени, и ждут корабля.

Внизу, под рамой, рядом с её запятой, стоял знак. Дуга, а под ней точка, как полужакрытый глаз.

Ада не знала, что он значит. Она перерисовала его в блокнот, между «Продаётся пианино. Тихое» и запиской Неллы, и решила, что узнает.

Она взяла карандаш на цепочке и минуту стояла с ним, не касаясь бумаги.

Можно было закрасить. Можно было дорисовать над водой туман, чтобы море стало далёким, а под окном появилась мостовая. Можно было вообще ничего не делать — пусть этот кто-то знает, что его море приняли молча, как подарок, о котором не просили. Каждый вариант был ответом.

Ни один ей не нравился.

Ей нравилось вот что: она хотела туда, вниз, к воде. Она хотела знать, как спуститься.

Она начала от подоконника. Камень под окном — она продолжила его вниз, сделала толще, превратила в стену, в которую можно врезать ступени. Ступени пошли вниз и вбок, вдоль стены, к воде, узкие, без перил, как на старых набережных. Двадцать ступеней. Нет — четырнадцать, потом площадка. Небольшая, шага на три, с невысоким каменным бортиком. На площадку можно было выйти, остановиться, облокотиться и смотреть на море, на три огонька, на рябь. Не спускаться. Ещё не спускаться. Просто постоять.

Потом ещё семь ступеней, и последняя уходила прямо в воду, под рябь, так что непонятно было, где кончается камень.

Ада отступила. Лестница получилась некрасивая. Она получилась тяжёлая, громоздкая, она перерезала угол окна и нарушила всю композицию, и отец, если бы увидел, взял бы карандаш и тремя движениями сделал бы её лёгкой.

Пусть.

Она поставила под площадкой запятую и закрыла Альбом. Потом открыла снова, чтобы тот, кто придёт, сразу увидел.

\* \* \*

— Это что?

— Пирог.

— Я вижу, что пирог.

Нелла сидела на ступенях Мастерской, в своём фартуке, с полосой краски на щеке — не той, что вчера, новой, — и смотрела на пирог из лавки на Мокрой улице так, как смотрят надохлую мышь, принесённую кошкой.

— С вишней, — сказала Ада. — Твой любимый.

— Я знаю, какой мой любимый. — Нелла не взяла пирог. — Как прошла проба у Орсо, ты не спросила.

Ада открыла рот и закрыла.

— Как прошла проба у Орсо?

— Хорошо. Он сказал «посмотрим». У Орсо «посмотрим» — это почти «да». — Нелла наконец взяла пирог, разломила пополам и протянула половину Аде. — Это не значит, что я тебя простила. Это значит, что я голодная.

Они сидели и ели. Пирог был горячий, вишня текла по пальцам. Ада облизнула палец и сказала:

— Прости. За уборку. Я правда думала, что полчаса.

— Нет, — сказала Нелла без злости, — не думала. Ты думала о своём, а про полчаса сказала, потому что я спросила. Это разные вещи. — Она доела свою половину и вытерла пальцы о фартук. — Пирог — это ты сама себя простила. Мне нужна твоя часть календаря.

Календарь. Весенний листок Мастерской, который они делали вдвоём: Нелла набирала и печатала, Ада рисовала заставки к месяцам. Двенадцать заставок. Ада сделала четыре.

— Сегодня? — спросила она.

— Вчера, — сказала Нелла. — Но сегодня тоже подойдёт.

Восемь заставок. Ада провела над ними весь день — в изобразительном зале, у окна, где свет был хороший, а сквозняк ещё лучше. Это была скучная работа. Цветы для мая, рыбы для июня, снопы для августа. Она могла рисовать снопы с закрытыми глазами, и от этого рисовать их было вдвое скучнее. Два раза она вставала, чтобы сходить в Зал незавершенного и посмотреть, нет ли ответа. Оба раза садилась обратно. Если она уйдёт посмотреть, то останется смотреть, а снопы останутся у Неллы.

К шести вечера все восемь лежали на Неллином столе. Нелла пересмотрела их по одной, как смотрит оттиски: подносила к свету, щурилась.

— Сентябрь кривой, — сказала она.

— Сентябрь всегда кривой.

Нелла фыркнула. Это был не смех, но и не та тишина, что вчера. Ада решила, что на сегодня этого достаточно.

\* \* \*

Вечером четвёртого дня Эрты встала.

Ада не ждала этого. Она ждала этого два года и именно поэтому не ждала сегодня. Она сидела в мастерской наверху одна: отец уехал смотреть чей-то заказ на другом берегу, мать была внизу с гостями. Ада зашивала последний лист.

Двадцать шестой лист Эрты был не про улицы. Он был про событие. Она долго не знала, какое: город может быть сколько угодно подробным, но если в нём ничего не случа-

ется, он остаётся картой. Мир встаёт, когда у него есть свои правила, своя прожитая жизнь и одно событие, которое может кончиться по-разному. Так учили в Мастерской. Правила у Эрты были. Жизни — двадцать пять листов: пекарни, прачечные, споры из-за соседства, дети, которые ставят на то, куда ночью уедет дом учителя. Не было события.

Неделю назад она его придумала.

«В ночь на первое апреля дом Мадель не закрепил ни одного порога и к утру исчез».

Мадель держала постоянный двор на Кожевенной, всегда полный, шумный, с вечным запахом жареного лука, который Ада ненавидела, но для Мадель оставила, потому что так было правильно. Мадель двадцать лет говорила соседям: «Вот бы мне пожить одной». Город однажды ночью понял её буквально. Ученица смотрительницы, Тея, — рыжая, в веснушках, с красным шарфом, любопытная, как сорока, — пойдёт её искать. И найдёт. И в конце Мадель вернётся к соседям, и соседи будут так рады, что Мадель поймёт: одной ей вовсе не хотелось.

Конец у Ады был уже написан. Отдельно, на чистом листе, в конверте. Тёплый, с лампой, которую выносят из кухни, и корзиной на ступеньке. Ей было немного стыдно, как он ей нравится.

Она сделала последний стежок, протянула нитку и завязала узел.

Ничего не произошло.

Ада вздохнула, отложила иглу и потянулась. Мать внизу засмеялась над чьей-то шуткой. В стекло потолка стучал дождь, лампа на столе горела ровно.

А потом запахло хлебом.

Не из кухни. Внизу варили рыбу, рыбой и пахло на лестнице. А здесь, над столом, пахло хлебом — свежим, с подгорелой корочкой, такой, как она любила, — и мокрым камнем, и ещё чем-то кислым, вроде капусты в бочке. Запах шёл от листов.

Она положила ладонь на верхний лист. Бумага была тёплая. Тёплая, как кожа человека, который только что спал.

Лист дышал.

Ада сидела, не шевелясь, и чувствовала под ладонью, как он поднимается и опускается. Едва-едва. Так, что если бы она не знала, что это невозможно, она бы решила, что ей кажется. Но она знала, что это возможно. Её учили этому с шести лет. Она видела, как встаёт чужой мир, — дважды, на занятиях, из-за плеча мастера. Видела, как бабушка, смеясь, клала руку на чужой лист и говорила: «О, задышал, голубчик».

Никто не говорил ей, как это бывает, когда задышал твой.

В конце книги, за двадцать шестым листом, был вшит пустой — особой бумаги, тонкой, дорогой, отец отдал ей свою последнюю пачку. Смотровое окно. Пока мир не встал, это просто белый лист. Ада перевернула книгу и открыла его.

Лист был мутный, как запотевшее стекло. Она смотрела,

и муть расходилась. Сначала в середине, потом к краям.

Ночь. Огни. Крыши — её крыши, с флюгерами, которые она нарисовала, но они выглядели не так. Темнее. Мокрее. Настоящими. На одной трубе сидела кошка. Кошку Ада не рисовала.

На Площади Шагов играла музыка. Отсюда Ада её не слышала, но видела: на краю площади стояли люди с инструментами, и один, толстый, в шляпе, раскачивался в такт. Площадь была овальная. Конечно. С колоннадами. Ада почувствовала короткий, детский укол и тут же забыла о нём, потому что город начал двигаться.

Ход.

Сначала сбор: люди выходили из домов на пороги. Соседи брали друг друга за руки — коротко, буднично, как здороваются, — и стояли так немного, а потом отпускали и расходились. Кто-то не вышел. Кто-то вышел и долго стоял один. Потом музыка изменилась, люди на площади встали в круг и пошли, сначала медленно, потом быстрее, — и дома поехали.

Ада задержала дыхание.

Она придумала это. Она нарисовала каждую опору, каждое основание, каждую поворотную ось моста. Она знала, как это должно выглядеть. Она не знала, как это выглядит.

Дома скользили — плавно, без единого толчка, как лодки по тихой воде. Пекарня с жёлтыми ставнями отъехала от аптеки, и между ними открылась улица, которой минуту назад

не было. Мост у Каменного двора, тот самый, повернулся на опоре влево, медленно, как стрелка часов, и встал на новый берег, а Крайний спуск, её любимая лестница, отошёл вправо и не задел его. Отцовская поправка. Работает. Ада почти засмеялась. Окно на втором этаже какого-то дома проплыло мимо другого окна, и из одного в другое кто-то передал кружку.

Люди на площади танцевали. Ада видела, как они ведут фигуру, как ряды проходят друг сквозь друга, и это было похоже на то, что делали дома, только поменьше. Шаг за шагом. Шаг людей — шаг города.

Она не знала, сколько это длилось. Потом дома остановились, оседая, как оседает пыль, и люди на площади стали расходиться, держась друг за друга, смеясь. Кто-то споткнулся. Кто-то поймал.

Тогда она увидела Тею.

Это было на окраине, у Каменного двора. Ада узнала её не сразу, потому что Тея была не такая. Не рыжая — тёмная, коротко стриженная, под кепкой. Не в шарфе — в куртке с подвёрнутыми рукавами, с сумкой через плечо, из которой торчали какие-то палки и мотки верёвки. Не любопытная. Злая.

Тея стояла на чужом пороге и тыкала пальцем в ведро. Ведро стояло на пороге, а хозяин порога, лысый дядька в ночной рубаше, стоял в дверях и разводил руками. Тея что-то говорила ему, быстро и коротко. Дядька отвечал длинно.

Тея пнула ведро — не сильно, по-деловому, — и оно откатилось к стене. Она что-то записала в маленькую книжку, развернулась и пошла прочь, не оглядываясь, а дядька крикнул ей вслед, и, кажется, это было не «спасибо».

Ада такого не писала.

Она писала Тею, которая ходит по ночному городу с фонарём, задрав голову, и считает звёзды между крышами. А эта Тея смотрела под ноги и пинала вёдра. Ада не знала, что её Тея умеет пинать вёдра. Не знала, почему ведро стояло на пороге и что Тея записала в книжку. Не знала, как зовут лысого дядьку. Он был лысый. Она не рисовала лысых на Каменном дворе.

Город жил. Сам. Без неё.

Ада сидела, вцепившись в край стола, и не понимала, что чувствует. Восторг — да. Гордость, от которой хотелось закричать в стеклянный потолок. И что-то ещё, мелкое и холодное. Она не знала, что такое это ведро. А ведь это её город.

В дверь постучали.

— Ада? — Голос отца. Вернулся. — У тебя свет. Всё в порядке?

Она посмотрела на смотровое окно. На Эрту, которая засыпала: гасли окна, на трубе кошка вылизывала лапу. Сейчас отец войдёт, увидит, и будет так рад, так горд. Позовёт мать, мать позовёт бабушку, и через десять минут здесь будут все, и кто-нибудь откроет вино, и кто-нибудь скажет «наша буду-

щая Эстер», и отец положит руку на лист и скажет «о, задышал, голубчик», и это будет правдой, и это будет прекрасно.

И Эрта станет ровельской.

— Всё хорошо, пап, — сказала Ада. Голос получился почти нормальный. — Я дошиваю. Сейчас лягу.

Пауза.

— Не сиди до утра.

— Не буду.

Шаги ушли вниз. Ада выдохнула.

Одну ночь, подумала она. Только одну. Первую ночь Эрта будет только моей.

Она сидела до утра. Смотрела, как над её городом гаснут последние окна, как пекарь с жёлтыми ставнями выходит в пять часов растапливать печь, как Тея, та, чужая, злая, в кепке, идёт по пустой улице с фонарём, задрав голову, и считает что-то между крышами. Может, звёзды. Может, трубы.

Ада не знала. Ей ужасно хотелось узнать.

Перед рассветом она подумала, что сегодня у неё есть живой город. И чужое море в Альбоме, у которого, может быть, уже появился ответ на её лестницу. И она не могла понять, что из этого волнует её больше.

Это было нечестно по отношению к городу. Она понимала. Но всё равно думала о лестнице.

## Глава 4. Высокий борт

Ян

Лестница была ужасная.

Ян понял это сразу, с порога Зала незаконченного, ещё не дойдя до Альбома: что-то тяжёлое, серое, наискосок перерезало его море, как шрам. Он подошёл ближе и минуту стоял, сунув руки в карманы, чтобы не взять карандаш раньше, чем подумает.

Кто-то — Запятая — продолжил подоконник вниз, превратил его в стену и врезал в стену ступени. Узкие, без перил, со щербинами, как на старых набережных у Рыбного рынка. Ступени шли вдоль стены и уходили в воду, в его рябь, так что последняя пропадала под штриховкой. Грубо. Тяжело. Лестница съела левый нижний угол окна, сломала весь его горизонт, и море, которое он вчера вытягивал до самой рамы, теперь упиралось в камень.

Испортила, подумал он. Взяла и испортила.

А потом увидел площадку.

Четырнадцатая ступень была шире остальных. Не ступень — площадка, шага на три, с низким каменным бортиком, о который можно облокотиться. После неё лестница продолжалась вниз. А на самой площадке ничего не было. Ни фонаря, ни скамейки, ни двери. Просто место, где можно встать и не спускаться.

Ян смотрел на площадку и не мог понять, почему она его так задевает.

Потом понял. Если бы это была музыка, это была бы пауза. Такт, в котором ничего не звучит. Лестница идёт вниз, вниз, вниз, ровно, как Песнь Сада, и вдруг останавливается на три шага, чтобы ты мог оглядеться. Не потому, что устал. Потому что море красивое, и на него хочется посмотреть, прежде чем в него лезть.

Ян вычёркивал паузы всю жизнь. «Здесь провисает», — говорил отец, и Ян вычёркивал. Паузы — это где ничего не держится. А Запятая поставила паузу посреди лестницы, тяжёлой, некрасивой, и пауза была лучшим, что было на рисунке. Лучше даже его моря.

Он вынул руки из карманов.

Лестницу можно было облегчить. Убрать два пролёта, сделать ступени тоньше, вытянуть их, и горизонт бы вернулся. Он видел, как это сделать, тремя движениями. Он посмотрел на площадку и понял, что, если облегчить лестницу, площадка останется висеть одна, без смысла. Пауза имеет смысл, только если перед ней долго шли вниз.

Ладно. Пусть будет тяжёлая.

Внизу лестница уходила в воду. Ян подумал: а дальше? Ты спустился к морю — и что? Плыть? В ноябрьскую воду, в ночь, к трём огонькам, до которых полмира? Лестница, которая ведёт в воду, — это обещание, которое никто не собирается выполнять.

Он нарисовал лодку.

Маленькую, на двоих, у самой нижней ступени, с верёвкой, заклёстнутой за каменный выступ, — он нарисовал этот выступ, потому что иначе привязать было бы не к чему. Лодку он начал как обычную, низкую, с тонкими бортами, какие бывают у речных плоскодонок. Потом остановился и посмотрел на площадку. Кто-то стоит на площадке. Смотрит на море. Потом решает спуститься. А в лодке — ребёнок? Почему ребёнок? Ян не знал. Просто представил: кто-то спускается с ребёнком за руку, ребёнок вырывается, лезет в лодку первым, встаёт на банку, чтобы лучше видеть огни...

Он поднял борт. Высоко, почти по пояс тому, кто сидит. Лодка стала похожа на корыто, на ящик, на что угодно, только не на лодку. Ни одна лодка в Корде так не выглядела. Зато в ней можно было стоять. Даже ребёнку. Даже ночью. Даже когда она качается.

Рядом с лодкой, мелко, по краю бумаги, он написал — карандашом, своим нотным почерком, острым и наклонным: «Борт не трогай. Вдруг в лодку сядет ребёнок. Площадку оставил».

Поставил фермату. И пошёл на занятия, опаздывая на четыре минуты, и все четыре минуты думал не о том, что опаздывает, а о том, что она, кто бы она ни была, наверняка захочет борт опустить. Потому что так некрасиво. Потому что так не бывает.

Пусть только попробует.

За ужином говорили о надёжности. За ужином у Тарнов всегда говорили о работе, это было как молитва перед едой у других семей.

Мара спустилась впервые за неделю, в халате, с покрасневшим носом, и ела бульон из большой кружки, держа её двумя руками. Мать резала хлеб. Отец рассказывал о заказе: старый мастер на Мельничной, Вайс, сделал подлинник для городского фонтана двадцать лет назад, а теперь фонтан начал петь не то. Не ту мелодию. Город платит, чтобы его привели в порядок.

— Что там? — спросила мать. — Износ?

— Красота, — сказал отец. — Вайс сделал его красивым. Двенадцать голосов, перекличка, отражение в воде. Его хвалили на всех показах. А держать нечем. Нет ни одного повтор, ни одной опоры. Двадцать лет фонтан поёт сам и потихоньку сползает. — Он отломил хлеба. — Красота, которая не держится, — это декорация. Мы делаем то, что держится.

— Ровели бы сказали, что это у фонтана своя жизнь, — заметила Мара в кружку.

— Ровели сказали бы, что фонтан свободен, — сказал отец. — И пошли бы дальше. А чинить потом нам.

Ян молчал. Он думал о лестнице с площадкой. О том, что площадка ни на чём не держится, ни на какой причине, просто есть. И что, будь это его работа, отец назвал бы её провисанием. Ему захотелось сказать: «А может, держаться —

это не единственное». Он отпил воды и сказал:

— Фонтан, может, поёт не то, потому что ему надоело то.

Мара фыркнула в бульон. Мать подняла глаза. Отец посмотрел на него, и Ян увидел в его взгляде восьмой такт — тот самый, вчерашний.

— Фонтану не может надоест, — сказал отец ровно. — Фонтан — это вода и камень. Надоест может людям, которые его слушают. И если им надоест, пусть они построят себе другой фонтан. Этот должен делать то, что обещал.

Потом спросил, закончил ли Ян переходы для Мары. Ян сказал, что закончил. Отец кивнул. Мара под столом пихнула Яна ногой — то ли «спасибо», то ли «зачем ты с ним споришь», он так и не понял.

\* \* \*

Ночью он закончил море.

Не собирался. Собирался сыграть себе последний кусок, который не давался три недели, и лечь. Синяя тетрадь лежала на крышке старого клавира. Ян открыл её на последней странице, где обрывалась партитура, и посмотрел на пустые такты так, как вечером смотрел на площадку.

«Море держит слово» было про корабль. Старый корабль «Медная рыба», весь, от киля до мачты, исписанный именами. В мире, который придумал Ян, корабли ходили ночью по морю, а море ночью опускалось и шло над землёй, над крышами и садами, так что из окна второго этажа можно было достать рукой до чужого днища. Корабли держались на этой

воде не потому, что были лёгкие. Корабли держались потому, что люди держали слово.

Каждое судно строили на обещании. Его вырезали на доске в трюме — клятвенной доске — вместе с именами всех, кто за него поручился. Пока обещание держалось, держался и корабль. Ян придумал это в пятнадцать лет и до сих пор считал лучшим, что придумал в жизни. Мир, в котором верность — не красивое слово, а то, на чём ты буквально стоишь над пропастью. Нарушил слово — упал.

«Медная рыба» держалась на клятве капитана. Капитан Ивар поклялся жениться на Селме в Порту Белых ступеней, и корабль должен был довезти его туда к назначенной ночи — с пассажирами, с командой, со штурманшей Норой, которая знала каждую звезду. История была про путь. Про шторм, мель, про то, как Нора выводит корабль из тумана и как в последнюю ночь Ивар сходит на берег, а Селма ждёт на ступенях и поправляет ему воротник.

Конец был написан давно. Не хватало середины, последнего перехода: момента, когда клятву вырезают на доске. Ян три недели не мог его написать. Ему всё казалось, что клятва звучит не так, как должна. Слишком легко.

Он сыграл начало перехода. Потом сыграл ещё раз, медленнее. И вдруг услышал, что не так: в клятве не было паузы. Капитан произносил её на одном дыхании, как заученное. А человек, который обещает такое, — жениться, всю жизнь, и чтобы от этого держалась под тобой вода, — он должен хо-

тя бы раз остановиться. Вдохнуть. Подумать, на что он себя обрекает.

Ян поставил паузу. Один пустой такт посреди клятвы.

И дописал до конца — быстро, почти не проверяя, как пишут под диктовку. Последний такт. Двойная тактовая черта.

Тетрадь в его руках стала холодной.

Не прохладной — холодной, как металл зимой. Ян чуть не уронил её. На странице, на свежих чернилах, выступили капли. Прозрачные. Он тронул одну пальцем и лизнул.

Соль.

Он сидел за клавиром в пустом тёмном зале, где пахло рекой и канифолью, держал холодную мокрую тетрадь и слушал. Тетрадь шумела. Едва-едва, на самом пороге слуха, как шумит раковина, если поднести её к уху. Только это была не раковина и не кровь в ушах. Это был прибой.

— Ох, — сказал Ян вслух. — Ох, нет. Ох, да.

Сзади тетради, после партитуры, было вшито три листа смотровой бумаги — тонкой, дорогой, он копил на неё полгода, откладывая с переписки. Он не знал, понадобятся ли они когда-нибудь. Он открыл первый.

Сквозь муть проступила ночь.

Вода шла над крышами. Над незнакомыми ему черепичными крышами, над колокольней, над садом, где между грядок стояли люди с удочками, задрав головы, и закидывали лески вверх, в нижнюю кромку моря, тёмную, с огнями. Он написал это. Он не знал, что это будет так красиво. Свет фо-

нарей уходил под воду и дрожал там, как звёзды в луже. Снизу было видно днище проходящей лодки.

А потом он увидел «Медную рыбу».

Она шла высоко, в самой глубине тёмной воды, большая, медленная, с тремя огнями на мачте — один над другим. Ян подумал о трёх огоньках, которые нарисовал в Альбоме, и ему стало смешно и странно. Борт у «Рыбы» был светлый, весь в чёрных метинах. Он не сразу понял, что это имена. Сотни имён, вырезанных прямо по обшивке, мелко, вплотную, как надписи на старой парте.

На корме у штурвала стояла девушка в куртке с поднятым воротником. Нора. Она была не такая, как он придумал: он писал её высокой, светлой, с косой. Эта была небольшая, темноволосая, коса заколота на затылке кое-как, узлом, — и что-то кричала вперёд, на нос, сердито, сложив ладони рупором. На носу кто-то возился с канатом.

Ивар стоял у мачты. Ян узнал его сразу — так, как узнаёшь человека, которого долго описывал: по повороту головы, по тому, как он держит руки за поясом. Высокий, светлородый, в капитанском кителе нараспашку. К нему подошёл пожилой пассажир с трубкой, хлопнул по плечу, сказал что-то, весело кивая на нос корабля, вперёд. Ян не слышал слов. Но он знал, куда идёт корабль, и мог догадаться. Что-нибудь вроде: «Ну, капитан, скоро свадьба?»

Ивар улыбнулся. Улыбнулся хорошо, широко — Ян писал его обаятельным. А потом, когда пассажир отвернулся,

улыбка ушла с его лица — сразу, целиком, как вода уходит в песок. Ивар посмотрел вниз, на палубу, на свои сапоги. Посмотрел так, будто там было написано что-то, чего он не хотел читать.

Волнуется, подумал Ян. Конечно. Свадьба. Человек всю жизнь был капитаном, а тут — семья, порт, ступени. Любой волновался бы. Надо будет потом дописать ему сцену с Норой, где он признаётся, что боится. И Нора скажет что-нибудь хорошее.

Ему и в голову не пришло, что это был не страх.

\* \* \*

Он сидел над смотровым окном почти до рассвета. Видел, как вода начинает подниматься: перед утром вся нижняя кромка моря медленно пошла вверх, и корабли пошли вверх вместе с ней, и рыбаки в садах сматывали удочки. С колоколен капала вода. Он видел, как на крыше колокольни, когда вода ушла, остались белые полосы. Соль.

Он не писал про соль на колокольнях. Он писал, что вода уходит вверх. Остальное мир придумал сам.

Ян закрыл тетрадь. Руки у него замёрзли, на кончиках пальцев была соль. Он подумал, что надо пойти разбудить отца. Что отец поднимется, сонный, недовольный, посмотрит в смотровое окно и скажет: «Ну вот. Держится». И это будет высшая похвала.

Он не пошёл. Сам не знал почему. Может быть, потому что отец сказал бы именно «держится» — и ничего про соль

на колокольнях.

Он сидел в тёмном зале и думал, что у него есть живое море. И что где-то в городе есть человек, который подписывается запятой, рисует тяжёлые лестницы и ставит паузы там, где их никто не ставит. И что завтра, наверное, этот человек увидит лодку с высоким бортом и решит, что она уродливая.

Ему ужасно хотелось знать, кто это. Не фамилию — фамилию он узнать не стремился, фамилии в Альбоме не спрашивают. Просто — кто. Мальчик, девочка, старик, ученик третьего класса. Как она — или он — держит карандаш. Почему за окном было пусто. Почему площадка.

Он вдруг понял, что впервые в жизни хочет узнать человека не потому, что тому нужна помощь.

Ян посидел ещё немного, держа холодную тетрадь на коленях, и тихонько засмеялся в тёмном зале. Тетрадь шумела прибоем.

## Глава 5. Взять настоящий лист

Ада

Лодка была похожа на корыто.

На ящик для угля. На гроб для невысокого человека. Ада стояла над Альбомом в шесть утра шестого дня — Мастерская только открылась, сторож ещё гремел вёдрами на лестнице — и чувствовала, как в ней поднимается почти физическое желание взять карандаш и срезать эти борта. Опустить их вдвое. Сделать лодку лодкой: лёгкой, низкой, с изгибом, чтобы она легла на воду, как лист на лужу. Она даже видела линию.

Потом прочла приписку.

Почерк был острый, наклонный, со странными крючками на концах букв, как будто человек привык писать мелко и быстро, между линеек. «Борт не трогай. Вдруг в лодку сядет ребёнок. Площадку оставил».

Ада прочла три раза. Потом посмотрела на свою площадку на четырнадцатой ступени, на лодку под ней, и увидела то, что видел он. Кто-то стоит на площадке. Смотрит на море. Решается. Спускается — и рядом с ним кто-то маленький, кто вырывает руку и лезет в лодку первым, и встаёт на банку, потому что дети всегда встают на банку, хотя им сто раз сказали сидеть.

В низкой лодке ребёнок выпадет. В этой — нет.

— Ладно, — сказала она Альбому. — Ладно, ты прав. Но она всё равно уродская.

Под лодкой она написала своим почерком, который отец называл «бегущим», а учитель словесности — «неразборчивым»: «Борт оставила». Подумала и добавила: «Он уродский». Подумала ещё и добавила: «Но правильный».

Поставила запятую.

И тут Альбом вздохнул.

\* \* \*

Сначала она не поняла. Запах пришёл раньше, чем мысль: соль. Острая, холодная, морская, такая, какой в Корде не бывало даже у Рыбного рынка, где пахло больше рыбой, чем морем. Соль и мокрый камень. Ада отступила на шаг, как будто её толкнули.

Нарисованная вода шевелилась.

Не вся. Рябь по верху — тонкие карандашные штрихи — медленно сдвигались, как сдвигаются строчки, если долго на них смотреть. Только Ада смотрела недолго. Штрихи шли волной, слева направо, от лестницы к трём огонькам, и обратно. Лодка на нижней ступени качнулась. Верёвка, захлёстнутая за выступ, натянулась и ослабла.

Ада протянула руку и тронула воду кончиком пальца.

Палец стал мокрым.

Она смотрела на свой палец. На капле, повисшей на ногте, играл свет из высокого окна. Ада лизнула палец. Соль.

Лист задышал.

Её город задышал позавчера ночью, и она два дня ходила, будто у неё в груди горит фонарь, и никому не говорила, и каждый вечер сидела над смотровым окном, глядя, как Тея пинает вёдра. Город — это двадцать шесть листов и два года работы. Здесь был один лист. Окно, лестница, лодка и кусок моря. И сделал его не один человек, а два, которые даже не знали друг друга.

Так не бывает, подумала Ада. Чтобы мир встал, нужны правила, жизнь и событие. Где здесь правила?

А потом поняла где. «За окном будет то, что кто-нибудь туда поставит» — это было её правило, хоть она его и не проносила. «Море держит то, что обещано» — это, наверное, было его, хоть Ада о нём не знала: она просто видела, как вода стоит вплотную к окну и не заливают подоконник, будто кто-то ей велел. Жизнь — три огонька и корабль, который идёт по своим делам. Лодка, которая ждёт. А событие...

Событие — это лодка. Кто в неё сядет? Куда поплывёт? Никто не знал. Ни она, ни он.

А ещё оба они сохранили то, что хотели стереть. Она — борт. Он — площадку. Ада не знала, бывает ли так, чтобы мир вставал от этого. На занятиях об этом не говорили. Но лист дышал. Он поднимался и опускался под её взглядом, и от него тянуло солью.

Сторож внизу уронил ведро. Ада вздрогнула и захлопнула Альбом.

Нет. Нет-нет-нет.

Живой лист в Альбоме незаконченного. В открытом зале, куда за день заходит человек сорок. Куда завтра может зайти третьеклассник с углём и пририсовать на воде костёр, или пожар, или чудовище, потому что ему так захочется, — и этот костёр загорится. Где каждую последнюю пятницу месяца Ирма пересматривает Альбом, лист за листом, и если увидит живое, — а она увидит, она видит всё, — лист изымут и отправят в Хранилище, к Давену, как опасную находку, и начнут выяснять, чей знак запятая и чей знак фермата.

Последняя пятница месяца была через четыре дня.

Ада стояла, прижав ладони к коже переплёта, и чувствовала, как под ними, сквозь кожу, сквозь двести страниц чужих набросков, шумит прибор.

\* \* \*

Весь день она думала только об этом. На занятиях по композиции рисовала в углу листа лодки. На обеде съела половину хлеба и не заметила, что вторую половину съела Нелла. Вечером, перед уходом, вернулась в Зал. Альбом был закрыт. Она открыла его на нужной странице, загородив спиной от двери, хотя в зале никого не было.

Под её «но правильный», на самом краю, был ответ. Тот же острый почерк, только мельче и быстрее, как будто писали, оглядываясь:

«Вижу. Не трогай пока. Я подумаю».

И фермата.

Значит, он был здесь. Днём. Видел. Значит, он тоже по-

нял. Ада не знала, радоваться ли этому или бояться. Он думает. Хорошо. А пока он думает, через четыре дня придёт Ирма.

Нарисованная вода шевелилась. Тихо, ровно, как спящий. Ада подержала над ней ладонь и почувствовала прохладу.

Не трогай пока. Конечно. Легко сказать. Он, наверное, из тех, кто сначала думает. Кто сначала проверяет узел, а потом садится в лодку. Ада вспомнила борт по пояс и подумала, что, наверное, да, из тех.

А она была из тех, кто сначала садится.

\* \* \*

В Мастерскую можно было попасть ночью через боковую дверь, со стороны Кожевенного переуллка. Ключ от неё был у сторожа, у Ирмы и у шести семей, которые давали Мастерской деньги. У Ровелей ключ висел внизу, у входа, на гвоздике, под отцовской шляпой.

Ада сняла его в половине двенадцатого.

Ей было стыдно за это так, что горели уши. Она всегда говорила Нелле, что ненавидит, когда фамилия открывает двери. Вот, пожалуйста. Фамилия открыла дверь. Буквально. Ключом с медной биркой «Р.».

На улице было сыро и пусто. Фонари горели через один. Ада шла быстро, придерживая под плащом папку с чистым картоном и сумку, в которой лежали нож, игла, крепкая нить и её городская книга, завёрнутая в старую шаль. Книгу она взяла, ещё не зная зачем. Знала только, что одна не пойдёт

без неё.

В Зале незаконченного было темно. Она зажгла фитиль самым маленьким огнём, с которым можно хоть что-то видеть, и подошла к Альбому.

Вырезать лист из Альбома было нельзя. Это было самое старое правило Мастерской, старше Закона о рамах, старше Сада. В Альбоме ничего не заканчивают и ничего не уносят. Ада знала людей, которых за меньшее отстраняли от занятий на год.

Она открыла Альбом. Лист дышал. В темноте было видно, что нарисованная вода слабо светится: там, где на ней лежали отражения трёх огоньков, бумага чуть мерцала, как тлеющая лучина.

Ада приложила к сгибу металлическую линейку. Нож вошёл в бумагу, как в масло.

Ей показалось, что лист вздрогнул. Может, это дрогнула её рука. Она резала медленно, по самому корешку, чтобы не задеть ни одной линии, и когда лист отошёл, взяла его на ладони, как берут из воды рыбу.

Он был тяжелее, чем должен быть лист. С одной стороны — там, где море, — холодный и влажный. С другой — где окно и камень — тёплый и сухой. Ада положила его на картон в папку и минуту стояла, глядя на шов в Альбоме. Узкая полоска бумаги у корешка. Никто, наверное, не заметит.

Ирма заметит.

Она закрыла Альбом, погасила фитиль и ушла тем же пу-

тём.

\* \* \*

Дома, в своей комнате, при свете одной свечи, Ада положила живой лист на стол рядом с городской книгой и долго смотрела на них.

Лист был маленький. Слишком маленький. Окно, лестница, лодка, полоска моря и три огонька. Ада вспомнила, что говорил отец: мир, в котором мало жизни, долго не держится. Он сползает. Выцветает. Перестаёт дышать — сначала по краям, потом весь. Как костёр из трёх щепок. Вспыхнет и погаснет.

Лист дышал часто и неглубоко. Как ребёнок, который бежал.

Ему нужно было за что-то держаться. Ему нужен был берег.

Она посмотрела на свою книгу. На первый лист, на Крайний спуск, на её любимую каменную лестницу на самом краю Эрты, со ступенями, стёртыми посередине. Лестница спускалась к краю города — и обрывалась. За ней Ада ничего не рисовала. Там было белое. Непрописанное. Край мира, за которым мир ещё не придуман.

А в Альбоме, на живом листе, её другая лестница — тяжёлая, четырнадцать ступеней и площадка — поднималась к окну из моря. Тоже никуда. Слева от неё тоже было белое. Две лестницы. Два края.

Ада сидела и понимала, что сейчас сделает. Понимала, что

нельзя. Понимала, что если отец узнает, он не будет кричать. Он будет смотреть на неё, как в День Сада смотрел на окно, сжимая правую руку левой. И ей будет хуже, чем от крика.

Она взяла нож.

Срезать край у подлинника — это не нарисовать, это правка. Самая грубая, какая бывает. Ада сделала её так, как отец учил её делать всё трудное: медленно, по линейке, не дыша. Узкая полоска, в палец шириной, по самому краю первого листа, там, где Крайний спуск уходил в белое. Нижние три ступени. И кусок пустоты за ними.

Книга дёрнулась у неё под рукой.

Ада замерла. Из книги пахнуло хлебом, мокрым камнем — и чем-то тревожным, как пахнет перед грозой. Потом стихло. Она перевернула книгу и открыла смотровое окно.

Эрта спала. Над Крайним спуском висел туман. Последние три ступени её любимой лестницы были на месте. А дальше, где раньше было ничего, белое, непрописанное, теперь клубился туман, плотный, как молоко, и в тумане было что-то вроде... шума. Не звука. Ожидания звука.

Хорошо. Хорошо. Город жив. Она ничего не сломала. Наверное.

Полоску с тремя ступенями она приложила к левому краю живого листа, к белому месту рядом со своей тяжёлой лестницей, и пришила. Мелкими стежками, крепкой нитью, так, как пришивают заплату на парус. Двадцать два стежка. На каждом лист вздрагивал.

На двадцать втором он вздохнул глубже.

Ада почувствовала это рукой. Не часто и неглубоко, как раньше, а ровно и медленно, как человек, который наконец сел. Нарисованная вода выровнялась. На листе, с левой стороны, у края, где шов, проступило что-то. Не нарисованное — выросшее: верхняя ступень другой лестницы, стёртая по середине. Её ступень. Из Эрты.

Ада сидела и смотрела, пока не догорела свеча.

\* \* \*

Утром седьмого дня она пришла в Зал незаконченного первой, раньше сторожа, с запиской, написанной в пять часов утра и переписанной трижды.

На месте, где был лист, теперь, под шовной полоской, шла следующая страница Альбома. На ней — чей-то старый набросок: начало моста. Ада написала на полях этой страницы, мелко, своим бегущим почерком:

«Фермата. Лист у меня. Он живой, ты видел. Через четыре дня его нашла бы Ирма. Я пришила к нему край своего города, Эрты, — он держится, дышит ровнее. Справа у него только нарисованное море. Если у тебя есть своё, настоящее, ты знаешь, что делать. Если нет — скажи, я спрячу его у себя. Он в ящике под подставкой, в серой папке. Ключ от ящика — в трещине на подставке, слева».

Поставила запятую. Подумала. Добавила ниже:

«Прости, что не дождалась, пока ты подумаешь».

Ящик под подставкой Альбома был старый, длинный,

для больших начатых работ, которые не помещались в шкафы. Ключ от него действительно лежал в трещине, сколько Ада себя помнила. Она положила туда серую папку, заперла ящик, вернула ключ в трещину и выпрямилась.

Теперь можно было спрятаться за шкафом с глиняной головой и ждать. Рано или поздно он придёт. Ада увидит, кто это. Мальчик, девочка, старик, ученик третьего класса. Как он держит карандаш. Почему фермата.

Ей хотелось этого так, что сводило ладони.

Она стояла посреди Зала, и в дверях появилась Нелла — с охапкой свежееотпечатанных листов календаря, заспанная, в нарукавниках.

— Вот ты где, — сказала Нелла. — Фальцовка. Двести штук. Ты обещала.

Ада посмотрела на шкаф с глиняной головой. На ящик под подставкой. На Неллу.

Она обещала. Неделию назад, когда Нелла сказала, что одна не справится до пятницы, Ада сказала «конечно». Не думая. Как всегда.

— Иду, — сказала Ада.

Нелла посмотрела на неё с подозрением, как на оттиск, который вышел подозрительно ровно.

— Правда?

— Правда. Двести штук. Пошли.

Они фальцевали календари до обеда, сидя на полу в печатне. Нелла рассказывала про Орсо, который сказал «по-

смотрим» уже второй раз, а это, говорят, почти «приходи в понедельник». Ада складывала листы ровными стопками и всё время думала о ящике. О том, что он, наверное, уже пришёл. Уже открыл папку. Уже знает.

Вечером она зашла в Зал. Ящик был заперт. Ключ — в трещине. Ада открыла.

Ящик был пуст.

На следующей странице Альбома, под её запиской, стояло одно слово. Острый, наклонный почерк:

«Есть».

И фермата.

Ада закрыла Альбом и долго стояла, держась за его медные уголки. Где-то в городе, в незнакомом доме, человек, которого она не видела ни разу, держал сейчас в руках кусок её Эрты. Пришитый двадцатью двумя стежками к рисунку, который они сделали вдвоём.

То, что ещё неделю назад было игрой в Альбоме незаконченного, стало кражей подлинного листа, правкой подлинника и соединением двух миров без разрешения мастера.

Она пошла домой пешком, под дождём, и всю дорогу улыбалась.

## Глава 6. Собрать края

Ян

«Прости, что не дождалась, пока ты подумаешь».

Ян перечитал эту строчку столько раз, что выучил наклон каждой буквы. Почерк у Запятой был бегущий — буквы валялись вперёд, наступали друг другу на пятки, «д» и «у» цеплялись хвостами за следующую строку. Так пишут люди, которые думают быстрее, чем пишут. Или которые очень торопятся. Или то и другое.

Она не дождалась.

Он был зол. Он был так зол, что, вынимая серую папку из ящика под подставкой — в обеденный перерыв, оглядываясь, чувствуя себя вором, — он уронил ключ, и ключ закатился под шкаф с глиняной головой, и Ян пять минут лежал на пыльном полу, выуживая его смывком. Он был зол всю дорогу домой, с папкой под курткой, прижатой к рёбрам. Злился, что она взяла лист из Альбома. Что она правила подлинник своего города. Что она решила за обоих.

И всё время, всю дорогу, под курткой, у самых рёбер, папка шумела. Тихо. Как шумит раковина, если её прижать к уху.

\* \* \*

Дома он заперся в кладовой с инструментами — в узкой комнате за залом, где лежали футляры, старые пюпитры и

всё, что ждало починки. Здесь никто не бывал, кроме него. Здесь было окно на реку, маленькое, под потолком, и стол, на котором он переписывал ноты, когда в зале играла Мара.

Он открыл папку.

Окно. Лестница. Его лодка. Его море — его штриховка, его рябь, его три огонька. Всё это теперь дышало: медленно поднималось и опускалось. От правого края тянуло холодом, от левого — теплом, будто лист лежал между печкой и открытой дверью.

А слева, у самого края, была пришита полоса.

Ян наклонился. Полоса была шириной в палец, плотной бумаги, другой, не альбомной, с тонкой зернистостью, какую делают для дорогих подлинников. На ней — три каменных ступени, стёртые посередине, и белое за ними. Стежки шли ровной цепочкой, мелкие, тугие, каждый затянут с одинаковой силой. Двадцать два. Он посчитал. Так пришивают заплаты на парус: Ян видел, как это делали на пристани у Рыбного рынка. Не по-домашнему — по-рабочему. На совесть.

А там, где полоса сходилась с альбомной страницей, лестница Запятой — её тяжёлая, четырнадцать ступеней и площадка — продолжалась. Уже не нарисованная. Выросшая. Камень переходил в камень без шва, и шов был только в бумаге, а в мире его не было. Нижние три ступени незнакомой лестницы, стёртые сотнями ног, вели вверх, в туман.

Её город. Эрта.

Он посидел над этим. Потом протянул палец и коснулся

верхней из трёх ступеней. Камень был сухой, тёплый и чуть шершавый. Кажется, кто-то просыпал на него муку.

Его злость куда-то делась. Не вся — половина. Вторая половина ещё сидела в нём, но уже вполголоса.

Потом он посмотрел на правый край. И перестал злиться совсем.

Правый край умирал.

Не быстро. Но Ян видел это так же ясно, как слышал фальшивую ноту. Его нарисованное море — то, что он штриховал в Альбоме пять дней назад, — было просто нарисованным. Ему не за что было держаться. Слева у листа теперь был берег — настоящий, тёплый, с мукой на ступенях, а справа только штрихи. И штрихи бледнели. У самого края карандаш уже стал серым, как старый, вытертый. Рябь там шла медленнее, сбивалась. Три огонька у края рамы горели неровно. Один, нижний, мигал.

Ян вспомнил, что говорил отец про фонтан Вайса. Красота, которая не держится. Двадцать лет поёт сама и потихоньку сползает.

Этот лист сползёт не за двадцать лет. За неделю. Может, за три дня.

«Если у тебя есть своё, настоящее, ты знаешь, что делать».

Он знал.

\* \* \*

Он не делал этого сразу. Он сидел до вечера и думал, и это было единственное, на что он имел право после того, как

Запятая решила за обоих.

Он думал о Законе о рамах. О том, что лист из Альбома унесли, а значит, Ирма в пятницу увидит шов. О том, что она начнёт искать. О том, что, если найдёт, — это не отстранение от занятий на год. Соединить два подлинника без мастера — за такое у взрослых отбирают мастерскую. У несовершеннолетних отбирают работы. Его синюю тетрадь отдадут под опеку, и опекуном будет отец.

Он думал о том, что Запятая уже сделала это. Со своей стороны. Что она уже нарушила всё, что можно было нарушить, и отступать ей некуда. Если он сейчас скажет «нет», она останется одна с половиной соединения и умирающим листом. А он останется чистым.

Это было бы очень по-тарновски, подумал Ян. Удержать своё. Не дать себя втянуть. И позволить другому упасть, потому что сам он ни в чём не виноват.

Мысль была отвратительная. Он даже не знал, откуда она взялась.

Нижний огонёк мигнул и погас.

Ян встал, вышел из кладовой, прошёл через тёмный зал к старому клавиру и взял с крышки синюю тетрадь.

\* \* \*

У моря был край.

Ян никогда о нём не думал. Он писал корабли, сады, порт, ночную воду — а где-то за всем этим море кончалось, потому что за ним он ничего не писал. Последняя страница про-

зы, перед партитурой, заканчивалась строчкой: «Дальше на восток море никто не прописывал». Он написал её в пятнадцать лет как шутку. Как надпись на старых картах: «Здесь водятся чудовища».

Он открыл тетрадь на этой странице. Строчка была на месте. А рядом, на нотном стане, — три такта прибоя. Простая фигура, повторяющаяся, как волна, которую он вписал в самый конец, чтобы море не обрывалось молча.

Он взял нож. Руки были холодные. Тетрадь в руках — тоже, она всегда была холодной с той ночи, когда встала.

Срезать край у подлинника — это правка. Самая грубая. Ян подумал о Томасе.

Это было неожиданно и неуместно, и всё-таки подумал. Томас, которого он никогда не видел, который играл на скрипке хуже его. Томас вошёл в Сад. Телом, через раму — тогда ещё не было закона. Вошёл, чтобы помочь, — и не вышел. После этого закон и написали.

Не входить. Ничего не соединять. Держать.

Ян провёл ножом по линейке. Полоса — три такта прибоя и строчка «Дальше на восток море никто не прописывал» — отделилась от тетради.

Тетрадь дёрнулась. Из неё плеснуло. Не водой — звуком: волна, большая, близкая, он услышал её всем телом, и на секунду ему показалось, что сейчас его окатит с головой. Потом стихло. На стол упали три солёные капли.

Он пришил полосу к правому краю листа. Он не умел

шить так, как Запятая: стежки у него получились крупнее и неровнее, и на седьмом он уколол палец. Капля крови упала на нарисованную воду и растворилась. Ян выругался словами, которым его учила Мара, и продолжал. Шестнадцать стежков. Не двадцать два — у него край был короче.

На шестнадцатом лист выдохнул.

Ян почувствовал это руками. Лист перестал быть двумя половинами — тёплой и холодной. Он стал ровным, прохладным, как вода в реке летом. Нарисованное море потемнело и налилось глубиной. Оно перестало быть штрихами: Ян смотрел и видел воду, ночную, тяжёлую, с белыми гребнями у камня. Потухший огонёк снова загорелся. Потом все три качнулись — разом, как качаются фонари на мачте корабля, который меняет курс.

И из листа зашумел прибой.

Не тихо, как раньше, не на пороге слуха. Громко. По-настоящему. Волна набегала на нижнюю ступень, на лодку, откатывалась и снова набегала, и в тишине кладовой это было так громко, что Ян испуганно оглянулся на дверь. Потом догадался прижать папку к груди. Шум стал глуше.

Он сидел так, держа в руках живой лист, по краям которого были пришиты два мира, и смеялся без звука, потому что смеяться вслух было нельзя.

\* \* \*

Записку для Альбома он написал коротко, на третий раз. Первые два варианта были длинные и объясняли, почему так

делать нельзя. Он выбросил их в печь.

«Есть», — написал он на полях под её запиской. И фермату.

Он подумал, что надо бы добавить ещё что-нибудь. Что-нибудь вроде «но больше не решай за двоих». Не добавил. Она бы и так поняла. А если бы не поняла — тем хуже для неё.

На восьмой день, утром, в Альбоме был ответ. Под его «есть», бегущим почерком:

«Готово?»

Он писал на полях, стоя, прикрыв Альбом плечом от двери:

«Готово. Край держит. Слышно прибор — громко, не открывай папку дома. Лист у меня, в сухом месте. Дальше что?»

Он знал, что дальше. Он знал, что она знает. Но хотел, чтобы сказала она.

Вечером ответ был:

«Дальше — рама. Я делаю свою в Эрту. Ты — свою в море. Входим каждый к себе, идём к краю. Встречаемся у окна».

Он прочёл это и почувствовал, как у него холодеют руки.

Под этой строчкой он написал, медленно, чётко, так, как отец объясняет новичку порядок работы:

«Рамы — да. Но сначала каждый проверяет свою. Один. Коротко. Пятнадцать минут, не больше, с возвратом в ту же точку. Никакого окна, пока оба не проверили. Я не шучу».

Подумал. Дописал:

«Пожалуйста».

\* \* \*

Раме нужна была рама.

Подлинник — это подлинник. Лист из него, исписанный тем, куда ты хочешь выйти, — это дверь. Но лист должен стоять. Его вставляют в деревянную раму, натягивают, как холст, и тогда он держит форму двери. Раму Ян сделать мог, но плохо. Сделать её хорошо мог Сава.

— Рамку, — повторил Сава. Он сидел на верстаке в мастерской Гриффа среди стружек и клеевых горшков, болтал ногами и смотрел на Яна с выражением человека, который ждёт продолжения анекдота. — Для чего?

— Для картины.

— Ты не рисуешь.

— Начал.

— Ага. — Сава спрыгнул с верстака. — Какого размера картина?

Ян показал руками. Чуть шире плеч, чуть выше роста.

— Это не картина, — сказал Сава. — Это дверь.

Ян ничего не ответил.

Сава смотрел на него долго. Потом подошёл к стойке у стены, где сушились заготовки, и начал перебирать сосновые рейки, проводя по ним пальцем.

— Сосна, — сказал он, не оборачиваясь. — Лёгкая и не ведёт. Соединение на шип, без гвоздей, гвозди потом ржаве-

ют. Лак не надо, лак трескается. Два дня.

— Сава...

— Не говори мне, — сказал Сава. — Ничего не говори. Если я не знаю, я не знаю. — Он обернулся. Лицо у него было серьёзное, как бывает очень редко. — Но если с тобой что-нибудь случится, я приеду из Лиры и тебя убью. Понял?

— Понял.

— Два дня, — повторил Сава и пошёл за пилой.

\* \* \*

Рама была готова на девятый день к вечеру.

Ян поставил её в кладовой, у стены, за пюпитрами, где её не видно от двери. Светлая сосна, гладкая, без единого гвоздя, как Сава и обещал. В её углах, на шипах, Сава вырезал крошечные значки. Ян присмотрелся — это были ноты. Одна нота в каждом углу. Он не сразу понял, что это их детский шифр, которым они на уроках сольфеджио писали друг другу записки. Четыре ноты, если читать по кругу, значили «не дури».

Он вырвал из синей тетради последний чистый лист последней тетрадки — подлинник, его бумага, его море. Написал на нём крупно, с паузами, как пишут условие, место, куда выйдет дверь: «Настил высокой стоянки, северный край. Сухо. Под навесом. Видно воду». Он знал это место. Он сам придумал этот настил два года назад: широкие доски на сваях, высоко над садами, куда днём поднимают лодки. Там всегда сухо. Там никто не ходит по ночам.

Он вставил лист в раму. Натянул. Закрепил клиньями.

Лист вздохнул, как вздыхает вода, когда в неё опускают весло, и потемнел.

Ян стоял перед рамой и смотрел. Это была уже не бумага. Это была дверь. Тёмная, с неровным светом в глубине, как окно в чужой дом ночью. Из неё тянуло холодным ветром, солью, мокрым деревом. Он слышал, как где-то далеко, внизу, бьёт о сваи вода.

Он протянул руку. Не до конца — на полпальца не дотянулся до поверхности. Ветер пробрал пальцы холодом до костей.

Можно войти. Прямо сейчас. Он слышал свой мир, ветер, воду, и хотел туда так, что ныло под ложечкой.

Он опустил руку.

Не сейчас. Сначала проверить возврат. Сначала выяснить, как выглядит дверь с той стороны, — а это можно выяснить, только войдя. Сначала написать себе порядок: что взять, сколько времени, что делать, если дверь не найдётся. Сначала...

Он поймал себя на том, что составляет список. Длинный, аккуратный, по пунктам, как отец составлял перед каждым сложным делом.

И подумал, что Запятая, наверное, уже вошла.

\* \* \*

Утром десятого дня в Альбоме, на полях, под его «пожалуйста», стояло:

«Иду сегодня. Пятнадцать минут. Честные. Твои пятнадцать минут или настоящие — проверим».

Ян не понял последней фразы. Она была какая-то не к нему, чья-то чужая, как обрывок разговора за стеной.

Он стоял над Альбомом, и у него в кармане лежал список из одиннадцати пунктов. Он понял, что пойдёт сегодня тоже. Вечером. Через пятнадцать минут после того, как узнает, что она вернулась.

Если она вернётся.

Он написал на полях:

«Напиши, когда вернёшься».

Потом зачеркнул. Потом подумал, что зачёркнутое здесь всё равно проступает, и дописал поверх, твёрдо:

«Напиши, когда вернёшься. Я буду ждать».

И фермату. Держать ноту, сколько хватит дыхания.

## Глава 7. Пятнадцать минут

*Ада*

Раму она взяла у матери.

Не спросила, конечно. В кладовой при ровельской мастерской, под самой крышей, стояли рамы для показов — десятки, всех размеров, золочёные, чёрные, ореховые, с резьбой, без резьбы. Сабина собирала их двадцать лет и знала каждую. Ада выбрала самую простую: дубовую, высокую, без позолоты, в которой два года назад висел на показе отцовский вид набережной. Рама была тяжёлая и скрипела в углах. Ада протащила её через чердак к себе, в чулан за спальней, и по дороге дважды останавливалась послушать, не идёт ли кто.

Ещё одна вещь, которую открыла фамилия. Рама для показа. Чтобы на неё смотрели.

Она чуть не засмеялась вслух.

Лист для двери она вырезала из конца городской книги, из чистой тетрадки, которую когда-то вшила про запас. Подлинник есть подлинник: дверь в мир делается только из его собственной бумаги. Она писала на листе долго. Это было как адрес на конверте, только конверт — ты сама.

Куда выйти? Не на площадь — там люди. Не в чужой дом — там хозяева. Она выбрала гостевой дом на Крайнем спуске. В её книге он стоял пустым всю весну: дом для приезжих с окраин, которые в Эрте почти не бывают. Ключ от него

хранили смотрительницы. Синяя дверь, узкая прихожая, вешалка, на ней забытый кем-то зонт. Ада сама рисовала этот зонт, в клетку, со сломанной спицей.

«Гостевой дом на Крайнем спуске. Прихожая. Синяя дверь. Пусто», — написала она.

Вставила лист в раму. Натянула. Подбила клинья, которые позаимствовала у отца, — тоже без спроса.

Лист вздохнул и потемнел, как вода, в которую опустили весло.

\* \* \*

Ада знала правила. Их знал любой ученик Мастерской с десяти лет, их рассказывали на первом же занятии по устройству подлинников, сухо и без картинок, и каждый ребёнок потом неделю не мог спать.

Рама — это дверь. Пока она цела, дверь открыта в обе стороны. Внутри у неё есть выход, там, где написано: дверь, калитка, порог. Если выйти наружу через него, окажешься у рамы. Выходят через ту раму, через которую вошли: рама помнит, кого впустила, а чужая не выпустит, даже если стоит рядом и её хозяин держит тебя за руку. Время внутри идёт так же, как снаружи: минута за минуту, ни быстрее, ни медленнее. Внутри ты не автор. Ты — тело. Ты можешь упасть, порезаться, промокнуть. Утонуть. Перо и карандаш там ничего не значат. Твой подлинник остаётся снаружи, у рамы, и что с ним сделают, ты не узнаешь, пока не вернёшься.

Если раму ломают, сожгут, сдвинут, порвут лист — дверь

закроется. С той стороны.

Восемнадцать лет назад в Сад через раму вошёл человек, чтобы выводить других, и не вышел. До Сада рамы делали все, кто умел. После Сада вышел Закон, и рамы стали делать только по разрешению, при мастере, с хранителем снаружи. Так было правильно. Так было безопасно.

У Ады не было ни разрешения, ни мастера, ни хранителя. У неё был чулан, заставленный старыми рамами, свечка и часы, которые она сняла со стены в спальне и поставила на сундук так, чтобы видеть их, проходя.

Без четверти девять. Внизу ужинали гости, отец рассказывал что-то про мосты. Ада сказала матери, что у неё болит голова, и мать погладила её по волосам и сказала: «Ложись пораньше». Ада легла. Полежала пять минут. Встала.

Четырнадцать минут пятьдесят секунд, решила она. Не пятнадцать. На десять секунд меньше. Чтобы, когда Фермат спросит, сказать: «Настоящие. Даже меньше».

Она подошла к раме.

Изнутри тянуло холодом и хлебом. Вблизи лист не был тёмным — он был глубоким, как колодец, на дне которого горит свет. Ада сняла туфли, потом подумала и надела обратно. Внутри может быть мокро. Проверила, что в кармане блокнот. Зачем блокнот? Не знала. Пусть будет.

Без десяти девять. Она шагнула.

\* \* \*

Это было похоже на прыжок в реку в мае: вода по шею,

холод, от которого перехватывает дыхание, — и сразу, без перехода, сухо. В ушах щёлкнуло, как бывает, когда быстро спускаешься с холма. Пол под ногами был другой. Твёрже. Холоднее.

Пахло пылью, старым деревом и хлебом.

Ада стояла в узкой прихожей. Справа — вешалка. На вешалке — зонт. В клетку. Со сломанной спицей, которая торчала вбок, как сломанное крыло.

Она смотрела на этот зонт и не могла дышать. Она нарисовала его прошлой зимой, за пять минут, между двумя другими делами. Положила тень, подумала, не слишком ли тёмная, оставила. Тень была на месте. Под зонтом на полу лежала пыль. Пыль Ада не рисовала. В пыли был след — маленький, кошачий.

Она обернулась. Позади, в стене, там, где у неё в книге висело зеркало, висел прямоугольник темноты в дубовой раме — изнутри рама была видна. Из темноты тянуло её спальней: свечой, лавандой из шкафа. Дверь домой. Открыта.

Хорошо. Хорошо.

Ада толкнула синюю дверь.

\* \* \*

Крайний спуск был длиннее, чем она думала.

Она стояла на верхней площадке, у двери гостевого дома, и лестница уходила вниз, широкая, каменная, со ступенями, стёртыми посередине до блеска, — её любимая лестница, нарисованная на первом листе и десятки раз переделан-

ная. Только теперь у лестницы был воздух. Вечер. Над Эртой стояли ранние сумерки, синие, прозрачные, и по краю неба шла розовая полоса. Ада не знала, что в Эрте бывают такие сумерки. Она никогда не рисовала небо: небо в её книге было просто белым, а над её домами — просто «вечер».

Мир сам решил, какого цвета у него вечер.

По лестнице поднимались и спускались люди. Женщина с корзиной белья на бедре. Двое мальчишек, которые неслись вниз через ступеньку и орали что-то неразборчивое. Старик с палкой, очень медленно, считая ступени губами. На пятой снизу ступени сидел человек в фартуке и курил трубку, и по его фартуку, белому от муки, Ада поняла, что это пекарь. Пекарня с жёлтыми ставнями была сегодня — она это знала, она видела вчерашний ход в смотровое окно, — у подножия Крайнего спуска, через улицу.

Никто на неё не смотрел.

Ада не знала, чего ожидала. Что все остановятся? Узнают? Поклонятся? Она стояла наверху в своём сером домашнем платье, с краской на манжете, и люди шли мимо, как мимо незнакомой девчонки, которая вышла из пустого дома. Одна женщина всё-таки посмотрела — подозрительно, сверху вниз, — и сказала соседке что-то вроде: «Смотрительницы опять кого-то пустили».

Ада пошла вниз.

Камень под ногами был тёплый — днём, наверное, светило солнце. Шершавый. Ступени были стёрты не одинаково:

на правой стороне сильнее. По правой стороне чаще поднимаются, догадалась она. Потому что справа перила. Перила она тоже рисовала: чёрное железо, витое. На ощупь оно было холодное и немного липкое, как всё железо, которое трогают сотни рук.

На двадцатой ступени её толкнули.

— Смотри, куда идёшь! — крикнул мальчишка, тот, что нёсся вниз, и понёсся дальше, не оглянувшись.

Ада стояла, держась за перила, и чувствовала, как горят щёки. Её толкнул её собственный персонаж. Вернее, не её. Она не рисовала этого мальчишку: у неё на Крайнем спуске в книге было три фигуры, все взрослые. Мальчишка был чей-то. Чей-то сын. У него была мать, которая, наверное, сейчас звала его ужинать.

Я тебя нарисовала, — захотелось крикнуть ей вслед. Хотя бы лестницу, по которой ты бежишь.

Она представила, как это прозвучит, и прикусила язык.

У подножия, в доме напротив пекарни, на двери висела табличка. Деревянная, с выжженными буквами, кривыми, как будто их выжигали в гневе: «НЕ СТУЧАТЬ. ВСЁ РАВНО НЕ ОТКРОЮ».

Ада достала блокнот и переписала. Между «Продаётся пианино. Тихое» и «Найдена вставная челюсть». Рука дрожала.

Пять минут.

Она стояла у подножия лестницы и смотрела налево, туда,

где Крайний спуск продолжался ещё тремя ступенями. Теми самыми. Теперь они вели не в белое. Они уходили в туман.

Туман был плотный, как молоко, и стоял стеной. Он начинался сразу за третьей ступенью и уходил вверх, выше домов. Сквозь него ничего не было видно. Но из тумана доносился звук. Ада сначала не поняла какой, потом поняла и перестала дышать.

Прибой.

Медленный, тяжёлый, ровный. Волна набегает — откатывается. Набегает — откатывается. Там, за туманом, за тремя ступенями её города, было его море.

Она сделала шаг к туману. Ещё один.

Около третьей ступени стояла девчонка. Ада не заметила её сразу, потому что девчонка была в серой куртке и сливалась с туманом. Тёмная, коротко стриженная, в кепке. С сумкой через плечо, из которой торчали палки и моток верёвки. Тея.

Тея стояла у края и смотрела в туман, держа в руке маленькую книжку. Потом что-то записала. Потом наклонилась, подняла камешек и бросила в туман. Прислушалась. Камешек не упал — или упал так далеко, что не было слышно. Тея снова что-то записала, очень быстро, и сказала вслух, сама себе, хрипловатым голосом:

— И откуда ты, интересно, взялось.

Голос у неё был не такой, как Ада придумала. Ниже. Злее. Ада стояла в трёх шагах. Она могла подойти. Сказать:

«Это я. Я тебя написала. Это я сделала туман». Тея обернулась бы. Что бы она сделала? Ада не знала. Она понятия не имела, что сделает её героиня, и от этого у неё ослабели колени.

Тея обернулась сама. Скользнула по Аде взглядом — равнодушным, профессиональным, как смотрят на прохожего, который не загораживает проход, — и снова отвернулась к туману.

Восемь минут.

Ада повернулась и пошла наверх.

\* \* \*

Подниматься было тяжелее. Она считала ступени — пятьдесят шесть, она нарисовала пятьдесят шесть, — и на сороковой поняла, что задыхается. На сорок пятой услышала за спиной колокол. Один удар, глубокий, медный, где-то в центре города. Вечерний колокол.

Сейчас начнётся сбор.

Она не рассчитывала на ход. Она считала минуты — четырнадцать пятьдесят, — а про часы забыла: в девять в Эрте бьёт колокол. Она сама его так нарисовала. В Корде в девять ничего не происходит.

Люди на лестнице оживились. Женщина с бельём поставила корзину на ступень и пошла вниз, к соседке, протягивая руку. Пекарь выбил трубку о перила и поднялся. Двери домов открывались, люди выходили на пороги. Сейчас они будут закреплять соседство, потом заиграет музыка — и до-

ма поедут.

А если гостевой дом поедет, пока она снаружи?

Ада побежала.

Двенадцать минут. Она взлетела на верхнюю площадку, к синей двери, и толкнула её плечом. Дверь не открылась.

Ада толкнула сильнее. Дверь стояла, как стена.

Она дёрнула ручку. Дверь не двигалась. Внутри, за досками, было тихо. Там висела рама, там было её окно домой, там был её чулан и её спальня. А дверь не открывалась.

Если раму сдвинут... Если дом поедет...

Дверь была просто разбухшей. Весна, сырость, старое дерево. Ада вспомнила это в ту секунду, когда уже готова была закричать. Она навалилась на дверь всем телом, снизу, у порога, где дерево цеплялось за камень, — и дверь подалась с визгом, как старая собака, которой наступили на лапу.

Прихожая. Зонт. Кошачий след в пыли.

Тёмный прямоугольник в дубовой раме. Свеча. Лаванда.

Ада обернулась на секунду. Через открытую синюю дверь видна была лестница, и люди на порогах держались за руки, и где-то далеко, в центре, ударили первые ноты музыки, глухо, как сердце под одеялом.

Она шагнула в раму.

\* \* \*

Холод по шею — и сразу сухо. Чулан. Свеча на сундуке. Часы.

Часы показывали девять и четыре минуты. Секундная

стрелка подходила к сорок пятому делению.

Ада моргнула и посчитала ещё раз. Четырнадцать минут сорок пять секунд. Пятнадцать секунд в запасе.

Она стояла в чулане, держась за раму, и не могла понять, почему так странно. Потом поняла: пол не двигался. Пол был ровный, деревянный, мёртвый. Стены стояли там же, где стояли. Через стену из столовой доносился голос отца, который всё ещё рассказывал про мосты. Корда была неподвижной. Плоской. Как рисунок, на который уже не смотрят.

Ада села на сундук. Потом легла на пол, прямо на доски, потому что голова кружилась так, будто она полчаса каталась на карусели. Пол пах пылью и лавандой. Он не дышал. Он был просто полом.

Она лежала и смеялась беззвучно, держась руками за живот, пока не заболели рёбра.

\* \* \*

В половине двенадцатого она снова сняла с гвоздика ключ с медной биркой «Р.».

Это было глупо. Это было опасно. Если сторож её увидит, если Ирма зачем-то задержится... Ей было всё равно. «Напиши, когда вернёшься. Я буду ждать». Он будет ждать. Где-то в городе, в незнакомом доме, человек со списком из одиннадцати пунктов сидит и ждёт, вернулась ли она. И пока она не напишет, он будет сидеть. Ада откуда-то знала это про него точно, хотя ничего не знала про него вообще.

В Зале незаконченного было темно и холодно. Альбом ле-

жал закрытым. Ада открыла его на следующей странице после шва и при свете самого маленького огня, какой могла зажечь, написала на полях, своим бегущим почерком, который сейчас бежал особенно:

«Вернулась. Четырнадцать минут сорок пять секунд. На стоящие.

Там пахнет хлебом. Там вечер розовый — я не знала. Меня толкнул мальчишка, которого я не рисовала. Там на двери висит табличка „НЕ СТУЧАТЬ. ВСЁ РАВНО НЕ ОТКРОЮ“, и я не знаю чья.

Внизу у лестницы туман. Из тумана слышно твоё море. Твоя очередь».

Она поставила запятую. Потом, после неё, ещё одну. Две запятые подряд. Это было неправильно и глупо. Ей было всё равно.

Она шла домой через спящую Корду, и улицы не двигались, и мосты стояли там, где стояли всегда, и ей впервые в жизни казалось, что её город — этот, настоящий, каменный, с рекой и фонарями через один — немного грустный. Как человек, который никогда не танцевал.

## Глава 8. Человек на площадке

*Ян*

Над головой было море.

Ян стоял на настиле высокой стоянки, северный край, сухо, под навесом, — всё как написал, — и не мог опустить голову. В пяти шагах от рамы навес кончался, а за ним, на высоте двух ростов, висела вода.

Днём море уходило в высокий пояс. Он сам это придумал. Он писал: «На рассвете вода поднимается вверх и стоит над землёй весь день». Он не думал, как это будет выглядеть снизу.

Это был потолок. Огромный, во всё небо, прозрачный у краёв и тёмно-зелёный в глубине. Солнце светило сквозь него, и свет падал на доски настила дрожащими пятнами, как сквозь листву. Над самой его головой, медленно, лениво, плыла рыба — серебристая, длиной в руку. Остановилась. Повернулась боком. Посмотрела на него круглым глазом. Уплыла.

К вечеру, когда вода начнёт опускаться, настил окажется у самой кромки, и к нему причалят лодки. Сейчас лодки висели вверх дном на подпорках вдоль края — днём их поднимают из воды. Пахло солью, мокрым деревом и смолой.

Ян протянул руку вверх. До воды было далеко. Он встал на цыпочки — всё равно далеко.

Он засмеялся. Один, на пустом настиле, под морем, за-  
драв голову, как те рыбаки в садах. Где-то внизу под насти-  
лом, на земле, кричали чайки и чей-то голос звал: «Мика!  
Мика, домой!»

Шесть минут. Ян посмотрел на часы, отцовские, серебря-  
ные, которые взял без спроса, и пошёл к краю настила, что-  
бы увидеть сады.

\* \* \*

Он вернулся ровно через пятнадцать минут. Не четырна-  
дцать сорок пять. Пятнадцать. Он стоял в кладовой перед  
рамой, мокрый от брызг — у края настила с моря сорвалась  
капля размером с ведро и окатила его с головы до ног, — и  
смотрел на секундную стрелку, пока она не дошла до двена-  
дцати. Потом выдохнул.

Записка в Альбоме — её — была выучена наизусть с утра.  
Ян пришёл в Зал незаконченного в семь, раньше всех, рань-  
ше сторожа. Прочитал: «Там пахнет хлебом. Там вечер ро-  
зовый — я не знала». Прочитал: «Твоя очередь». И увидел  
две запятые в конце.

Две. Неправильно. Он так и не понял, почему ему от этого  
стало весело на весь день.

Сейчас он стоял мокрый перед рамой и писал на обороте  
старой нотной бумаги, чтобы потом переписать в Альбом:

«Вернулся. Пятнадцать минут ровно. Днём море висит  
над головой, как потолок, — я не знал. Надо мной проплыла  
рыба и посмотрела. Меня окатило с неба, как из ведра. Кто-

то внизу звал Мику ужинать.

Сегодня? Когда стемнеет. Через твою лестницу — я через своё море, с востока. У окна. Пятнадцать минут».

Подумал и вычеркнул «пятнадцать». Написал «двадцать».

Подумал и вычеркнул «двадцать». Написал «пятнадцать».

Отец говорил: решение, принятое в волнении, проверь второй раз.

\* \* \*

Ответ в Альбоме появился к семи вечера:

«Сегодня. В девять. Ты с воды, я с неба».

Ян стоял над этими словами и не понимал, что значит «с неба». Потом понял, что она, наверное, и сама не знает. Что она выйдет из своего тумана туда, куда выйдет, как и он.

\* \* \*

Ночью море опустилось.

Ян прошёл через раму в половине девятого и увидел, что настил высокой стоянки теперь стоит над водой. Не под ней — над. Море пришло снизу, из низкого пояса, и плескалось у самых свай, чёрное, с белыми гребнями, в каких-то двух ладонях от досок. А вниз, туда, где днём были сады и крыши, Ян смотреть не стал. Он знал, что увидит: огни под водой, крыши под водой, колокольню, на которую сверху смотрят рыбы. Он сам это написал. Если начнёт смотреть, будет стоять до утра.

Лодки уже были спущены. Маленькие, стояночные, на одного-двух, с короткими вёслами. Ян выбрал самую обыкно-

венную, проверил дно, проверил уключины, проверил, что вёсла не треснули. Отвязал. Сел. Оттолкнулся.

На восток.

Море было живое. Это было не то, что смотреть в окно. В смотровом окне вода была картинкой — красивой, дышащей, но картинкой. А здесь она толкала лодку под днище, пахла водорослями и холодом, плескала в лицо. Вёсла входили в неё тяжело. Слева, далеко, у горизонта, шёл корабль с тремя огнями на мачте, один над другим.

«Медная рыба». Ян узнал её по огням и улыбнулся. Он рисовал три огонька в Альбоме за два дня до того, как море встало. Просто потому, что так ему всегда виделся корабль.

На востоке море было пустое. Ни судов, ни островов. Чем дальше он грёб, тем тише становилось. Кончились огни. Кончились чайки. Даже ветер стал другим — неуверенным, словно не знал, куда дуть. «Дальше на восток море никто не прописывал». Ян грёб в непрописанное и чувствовал, как холод забирается под куртку и дальше, под рёбра.

Потом он услышал звук, которого здесь не могло быть. Камень. Волна, ударяющая о камень.

Он обернулся.

Из темноты прямо из воды поднималась стена.

Одна стена. Без дома. Высокая, каменная, со щербинами, как на старых набережных у Рыбного рынка, и по ней, вдоль, наискосок, шла лестница. Узкая, без перил. Четырнадцать ступеней, площадка, ещё семь — и последняя уходила в во-

ду. У самой воды, захлёстнутая верёвкой за выступ, качалась лодка. С высоким бортом. Корыто. Ящик для угля.

А наверху, в стене, было окно.

Каменная рама. Широкий подоконник. Частый переплёт, одна створка приоткрыта. И на подоконнике, подтянув колени, сидел человек.

Ян перестал грести.

\* \* \*

Он думал об этом три дня. Он думал, кто это будет: мальчик, девочка, старик, третьеклассник. Он думал о человеке, который пишет бегущим почерком и ставит паузы посреди лестниц, — и представлял себе кого-то высокого. Смелого. Такого, кто входит в непрописанное, не оглядываясь. Кого-то вроде капитана с бородой, если честно.

На подоконнике сидела девчонка. Небольшая. В сером платье, поверх него вязаная кофта не по размеру. Тёмные волосы до подбородка, и одна прядь всё время падала на лицо, и она сдвигала её уголком рта. Сидела, обхватив колени руками, и смотрела на него.

Лодку несло к стене. Ян опомнился, схватил весло, табанул, развернул лодку боком, чтобы не ударить в камень. Подогнал к нижней ступени. Привязать было не к чему — выступ уже занимала та, другая лодка. Он нашёл второй выступ, ниже, неудобный, накинуд верёвку, затянул узел. Потом подумал и перевязал — так, чтобы держалось, если поднимется волна.

— Восемь минут, — сказал он себе под нос. — Девять минут обратно. Значит, у нас...

— Ты всегда проверяешь узлы дважды? — спросили сверху.

Голос был живой, насмешливый. Чуть хриплый, будто она простужена или долго молчала.

Ян поднял голову. Девчонка смотрела вниз, перегнувшись через подоконник, и лицо у неё было такое, будто она сейчас рассмеётся, но ещё не решила.

— Трижды, — сказал он. — Если волна.

— Я думала, ты капитан какой-нибудь. — Она спустила ноги с подоконника. — Ты так нарисовал море, что я думала... ну. Что ты плаваешь по ночам и ничего не боишься.

— А я думал, ты выше.

Она фыркнула.

Потом спрыгнула с подоконника на верхнюю ступень и пошла вниз. Быстро, легко, не держась ни за что, хотя перил не было, а справа был обрыв прямо в воду. Ян смотрел, как она спускается, и у него холодели ладони. Она дошла до площадки и остановилась. Облокотилась на бортик.

Ян понял, что всё ещё стоит в лодке на одном колене и смотрит снизу вверх, как дурак.

Он полез на ступени. Чтобы попасть на нижнюю ступень, надо было шагнуть из своей лодки, через вторую, с высоким бортом. Он шагнул. Нога встала на борт, борт был мокрый, нога поехала — и Ян полетел. Не в воду: прямо в эту, вторую

лодку. Через борт по поясу. Плашмя на дно.

Лодка качнулась, черпнула бортом, выправилась. Ян лежал на мокром дне, на спине, и смотрел вверх, на стену, на звёзды, на площадку, с которой свешивалась голова.

Девчонка смеялась. Не хихикала — хохотала, согнувшись над бортиком, закрыв рот ладонью, так что плечи тряслись.

— Высокий борт, — выговорила она наконец, — пригодился.

Ян лежал на дне лодки, которую сам нарисовал. Если бы борт был низкий, как у нормальной лодки, он лежал бы сейчас не здесь, а в ночном море, в одежде, в холодной воде, у стены, за которой никто ничего не прописывал.

Он начал смеяться тоже. Сначала от того, как глупо. Потом от того, как не глупо. Потом просто так.

\* \* \*

На площадке было тесно. Шаг на три. Он стоял у одного края бортика, она — у другого, и между ними было ровно столько места, сколько нужно, чтобы не задевать друг друга локтями. Внизу плескало. Вверху, в окне, шевелилась створка.

— Ада, — сказала она. Просто так, глядя на море, а не на него.

— Ян.

— Без фамилий, — сказала она быстро. Слишком быстро. — Как в Альбоме. Ладно?

Он кивнул. Ему и самому не хотелось. Фамилия у него

была длинная: в неё входили отец, Мара, Песнь Сада, «на тебя можно положиться» и восемнадцать лет вражды, о которой в доме говорили, понизив голос. Здесь, на площадке, было хорошо без неё.

— А что значит твой знак? — спросила Ада. — Дуга с точкой. Я перерисовала, хотела спросить у кого-нибудь — и не спросила. Побоялась, что догадаются.

— Фермата. Это когда нужно держать ноту. Не по счёту, а сколько хватит дыхания. Сколько считаешь нужным.

— Сколько хватит дыхания, — повторила она. — Красиво. А моя — продолжение следует.

— Я понял.

— Правда?

— Ты не закончила окно, — сказал Ян. — Оставила другому. Это и есть запятая.

Она посмотрела на него. Глаза у неё были светлые, карие, и в них отражались огни на воде. Потом она отвернулась к морю и сказала:

— Однажды я слышала фермату. Не знала, что она так называется. В День Сада, в Хранилище. Там играют Песнь — каждый год одно и то же, и на восьмом такте все падают вниз. А в этот раз один голос не упал. Держал и держал. Весь зал чуть не умер. Бабушка сказала: «Кто-то там, за ширмой, решил, что мёртвым надоело одно и то же».

Ян стоял очень тихо.

— Это был я, — сказал он.

Она повернулась так резко, что прядь хлестнула её по щеке.

— Ты?

— Меня потом чуть не убили. — Он почувствовал, что улыбается. — Твоя бабушка правда так сказала?

— Правда. — Ада смотрела на него, как будто видела в первый раз. — Значит, ты тоже там был.

— Значит, и ты.

Они оба замолчали. Ян знал, о чём она думает, потому что думал о том же. В День Сада в Хранилище не приходят случайные люди. Там стоят две половины зала, и пустой паркет между ними. Если она слышала фермату, она стояла в зале. В какой половине?

Он мог спросить. Ему хотелось спросить так, что щипало язык.

— Двести человек, — сказала Ада тихо, будто отвечая на его мысль. — Там было человек двести. Не будем.

— Не будем, — согласился Ян.

Она кивнула и снова посмотрела на воду.

Потом разговор пошёл легче. Сам, как лодка, которую отвязали. Она рассказала про зонт со сломанной спицей и про мальчишку, который её толкнул. Он рассказал про рыбу, которая посмотрела, и про ведро воды с неба. Она спросила, почему море держится, — он объяснил про клятвенные доски. Она сказала: «Это страшно». Он сказал: «Это красиво». Она сказала: «Это красиво и страшно», и он не стал спорить,

потому что впервые подумал, что, может быть, она права. Она рассказала, что её героиня пинает вёдра. Он рассказал, что его капитан не улыбается, когда говорят о свадьбе.

— Волнуется, наверное, — сказал он.

— Наверное, — сказала Ада, и что-то в её голосе было такое, что он запомнил, хоть и не понял.

Потом она вдруг замолчала посреди фразы и посмотрела вверх, на окно. Ян увидел, как у неё изменилось лицо: закрылось, будто захлопнули ставню.

— Мне пора, — сказала она. — Наверное.

Он не понял. Только что было хорошо. Он сказал что-то не то? Про капитана? Он перебрал в голове последние три фразы и не нашёл.

Ада уже стояла на первой ступени вверх.

— Пятнадцать минут же, — сказала она через плечо. — Ты сам. Честные.

Ян посмотрел на часы.

Двадцать три минуты.

Он стоял и смотрел на стрелки. Двадцать три. Он не заметил. Он ни разу не посмотрел на часы с той минуты, как упал в лодку. Ни разу. Это было с ним впервые в жизни.

— Ада, — сказал он.

Она остановилась на шестой ступени. Не обернулась.

— Ты придёшь ещё?

Пауза была долгая. Створка в окне наверху качнулась от ветра. Внизу плеснуло.

— Послезавтра, — сказала она наконец, и голос у неё снова был живой, насмешливый, такой, как в начале. — В девять. И не опаздывай со своим списком. Ты ведь составил список?

— Одиннадцать пунктов.

Она засмеялась — коротко, через плечо — и полезла вверх, к окну. Перешагнула через подоконник. Махнула рукой из рамы, не оборачиваясь. Исчезла.

Ян стоял на площадке, на которой можно остановиться и посмотреть на море. Внизу качались две лодки: одна обыкновенная, другая — корыто с бортом по пояс. На корыте был мокрый след его спины.

Он думал, что ждал капитана с бородой. А пришла девчонка в кофте не по размеру, которая спускается по лестнице без перил, не держась, а потом сбегает посреди разговора. Ничего общего с тем, кого он ждал.

Он грёб назад, на запад, к огням, и думал, что ни на кого другого не согласился бы.

На полпути он понял, что опять не смотрит на часы.

# Часть вторая. Полные имена

## Глава 9. Карта, которой недостаточно

*Ада*

Она сбежала, потому что посмотрела на окно.

Ада поняла это только дома, на полу чулана, под тиканье часов. Всё было хорошо. Было лучше, чем хорошо: он упал в лодку, он смеялся, он знал, что такое запятая, не спрашивая. Он сказал «Это был я» — про фермату, про ту самую ноту, которую она две недели носила за ухом. И она обернулась, посмотрела наверх, на окно, — на каменную раму, под которой в Хранилище стоят две половины зала, — и подумала: а если правая?

Если он стоял в правой половине. Если его фамилия начинается на «Т». Если она только что разговаривала лучше, чем с кем-либо за всю жизнь, с человеком, при котором её отец не стал бы даже поворачивать голову.

Она испугалась так, что пришлось уйти. Ада знала за собой это: когда становится по-настоящему важно, она уходит. Нелла называла это «срывом с крючка». Мать — «у Ады свои настроения». Бабушка Эстер говорила, что Ровели всегда так: сначала строят мост, потом боятся по нему идти.

«Не будем», — сказала она ему. Двести человек в зале.

Ада лежала на полу и думала, что будет. Что не спросит. Что лучше не знать.

\* \* \*

На двенадцатый день она вошла в Эрту на час.

Это было нарушением всех одиннадцати пунктов, которых она не видела, но о которых догадывалась. Ей было всё равно. Ей надо было понять город, свой город, раньше, чем туда придёт Ян, — а он придёт, они договорились на четырнадцатый день, послезавтра, у окна, и оттуда наверх, через туман, к ней. Она хотела показать ему Эрту так, как хозяйка показывает дом. Знать, где что лежит.

Прихожая. Зонт. Кошачий след в пыли стал двойным: кошка ходила туда-сюда.

И ещё следы. Человеческие. Две пары ботинок — одни большие, стоптанные, другие поменьше, с подковкой на каблуке. Они вели из синей двери в прихожую и обратно. Кто-то здесь был. Кто-то проверял.

Ада стояла и смотрела на следы, когда синяя дверь распахнулась.

— Ага, — сказала Тея. — Вот она.

\* \* \*

Тея была ниже, чем казалась в смотровом окне. Примерно с Аду ростом. Кепка, куртка с подвёрнутыми рукавами, сумка через плечо, а в руке — не фонарь и не книжка, а длинный железный крюк, каким открывают люки. Она держала его не как оружие, а как инструмент. Но держала.

За ней в дверях стояла женщина постарше. Высокая, жилистая, с седой косой, закрученной вокруг головы, в длинном рабочем фартуке со множеством карманов. Лицо у неё было обветренное, спокойное и очень внимательное.

— Брина, — сказала она, не спрашивая, а представляясь. — Смотрительница. Это Тея, моя ученица. Соседи с Крайнего спуска третий день говорят, что из пустого гостевого дома выходит девчонка. Сначала мы думали, мальчишки балуются. Потом Тея нашла следы.

— Женские, — сказала Тея. — Узкий каблук. Таких в Эрте не шьют.

Ада посмотрела на свои туфли. Отцовский сапожник на Шёлковой улице, лучший в Корде.

— Кто ты такая? — спросила Тея. — И что делаешь в доме, который мы держим для приезжих?

Ада открыла рот. Она приготовила для этой минуты десять ответов — ещё дома, на полу чулана. Сказать, что приезжая. Что заблудилась. Что её прислали с окраины. Каждый ответ был хорош, пока она лежала на полу. Сейчас, под взглядом Теи — тёмным, прямым, неприятно знакомым, — все десять рассыпались, как песок.

— Я та, кто это всё нарисовал, — сказала она.

Тишина.

Брина приподняла брови. Тея не приподняла ничего. Она смотрела на Аду, как смотрела на ведро на чужом пороге, — оценивающе и без восторга.

— Тогда объясни, — сказала Тея, — почему у Каменного двора нет навеса.

— Что?

— Каменный двор. Там, где вода, где помощь, где живут те, кто не хочет каждую ночь переезжать. Старики. Больные. Кто с младенцами. Они выходят на двор перед ходом, потому что во время хода им страшно в доме. И стоят. Под дождём. Весной каждую ночь дождь. — Тея говорила ровно, без злости, как перечисляют неисправности. — Навеса нет. Скамеек — три. Людей — тридцать. Если ты всё это нарисовала, то почему не нарисовала навес?

Ада стояла и не знала, что ответить. Она рисовала Каменный двор красивым. Колодец посередине, старые липы, булыжник. Она даже придумала, что там по вечерам играют в кости. Она ни разу не подумала, что там стоят под дождём.

— Я... не подумала.

— Ага, — сказала Тея. — Так я и думала.

— Тея, — сказала Брина негромко.

— Что? Она спросила, кто она. Она сказала. Я спросила про навес. — Тея перехватила крюк поудобнее. — Только я всё равно не верю. Рисовальщица — это из сказок для маленьких. «Как нарисовано, так и стоит». Мне бабка рассказывала. Ты — девчонка в чужих туфлях, которая влезла в пустой дом.

Ада почувствовала, как поднимается злость. Не на Тею. На себя. За то, что её героиня, её Тея, которую она писала с

фонарём и звёздами, стоит перед ней с крюком и отчитывает за навес. И за то, что Тея права.

— Пекарь с жёлтыми ставнями, — сказала Ада. — Его зовут Тоби. Он боится кошек.

— Его зовут Тоб, — сказала Тея. — И кошек он кормит. У него их шесть.

Это было ещё хуже.

Брина смотрела на Аду дольше, чем Тея. Потом сказала:

— Ключ.

— Что?

— Если ты рисовала этот дом, ты знаешь, где ключ.

Ада знала. Она нарисовала его в прошлом году, просто так, ради шутки: самое банальное место, какое только есть.

— Под третьей половицей от двери. Она скрипит.

Брина не двинулась. Тея повернула голову и посмотрела на наставницу.

— Ключ под третьей половицей, — сказала Брина медленно, — лежит там девятнадцать лет. С тех пор как я стала смотрительницей. Его туда положила я. Мне так показалось удобнее. Я никому не говорила. Даже Тее.

Тея посмотрела на неё. На Аду. На половицу.

— Это ничего не доказывает, — сказала она.

— Нет, — согласилась Брина. — Не доказывает. Но с тех пор, как шесть дней назад у Крайнего спуска встал туман, — она чуть кивнула в сторону двери, туда, где за лестницей клубилось белое, — я перестала говорить, что чего-то не бы-

вает.

\* \* \*

Туман — это была она. Ада сказала это, сидя на ступеньке в прихожей, когда Тея убрала наконец крюк в сумку, а Брина, не спрашивая, достала из кармана фартука свёрток с сыром и хлебом и протянула ей половину. Сказала, что туман встал, когда она отрезала край. Что там, за туманом, море. Что она не знала, как это будет.

Тея слушала, прислонившись к стене. Когда Ада закончила, она сказала:

— Значит, из-за тебя у нас край течёт.

— Течёт?

— Туда всё скатывается. Камешек бросишь — не слышно, как падает. Вчера у тётки Лин туда уехала бочка с капустой. Не своими ногами, понятное дело. На ходу съехала, а там туман. И больше её не видели.

Ада вспомнила кислый капустный запах, который чувствовала в первый вечер, когда Эрта встала. Бочка. Наверное, та самая.

— А ещё, — сказала Тея и замолчала.

— Тея, — снова сказала Брина. Тише.

— Нет уж. Пусть знает. — Тея оттолкнулась от стены. — Рем. Мальчишка, разносчик из пекарни Тоба. Пятнадцать лет. Пять дней назад понёс корзину хлеба через Крайний спуск, к старой Мадель — она хоть и ушла, а мать Рема всё равно каждую неделю отправляет туда хлеб, по привычке, на

ступени, где раньше стоял дом. Рем пошёл. И не вернулся. Последний раз его видели у тех трёх ступенек. С корзиной.

Ада перестала жевать.

— Пять дней назад, — повторила Тея. — Наутро после того, как встал туман. Его мать ходит к ступенькам каждое утро и зовёт. Ты не слышала, нет? Ты же рисовальщица. Должна была слышать.

Хлеб во рту стал как вата. Ада проглотила его, и он встал поперёк горла.

Пять дней. Двадцать два стежка. Ада сидела ночью у свечи и радовалась, как ровно дышит лист.

— Я не знала, — сказала она.

— Я верю, — сказала Тея. — Вот это — верю.

\* \* \*

Колокол ударил, когда Ада вставала.

Брина и Тея переглянулись, и Брина сказала: «Сбор», — и обе пошли к двери. Работа. Смотрительницы во время хода нужны на улицах. Тея на пороге обернулась:

— Ты остаёшься?

— Мне надо... — Ада кивнула на тёмный прямоугольник в стене. — Мне надо домой.

— Сейчас не выйдешь, — сказала Брина. — Дом своих во время хода не выпускает.

Ада не поняла. А потом поняла, потому что ставни на окнах прихожей с грохотом захлопнулись — сами, все разом, как будто кто-то дёрнул за общую верёвку. Синяя дверь за

Теей и Бриной закрылась с глухим стуком. Ада толкнула её. Дверь не поддавалась. Не разбухшая — запертая. Твёрдая, как стена.

— Так задумано, — сказала через дверь Брина. — Чтобы никто не выпал на ходу. Ход кончится — отпустит. Дом решил, что ты своя.

Своих дом держит. Ада сама это придумала, давно, ещё в первых листах. Чтобы дети не высывались из окон во время хода. Чтобы старики не падали со ступеней. Она нарисовала это правило за полминуты и забыла.

А дом не забыл.

Ада обернулась к раме. Тёмный прямоугольник висел в стене на месте зеркала, в двух шагах. Оттуда тянуло лавандой и свечой — её спальней. Она протянула руку. Пальцы упёрлись во что-то гладкое и холодное, как речной лёд в январе. Лист не пускал. Запах проходил, а она — нет.

Дом держал своих. Во все двери сразу.

Пол под ногами качнулся.

Ада схватилась за вешалку. Зонт в клетку упал. Дом двигался — плавно, ровно, как лодка, которую несёт течение. Через щели ставен она видела, как мимо плывут огни: окно, ещё окно, чей-то фонарь. Где-то снаружи играла музыка, и дом шёл в такт, Ада чувствовала это ступнями: раз-два-три, раз-два-три, медленно, по кругу.

Она сидела на полу прихожей, держась за ножку вешалки, и не могла перестать улыбаться, хотя ей было страшно. Её

дом танцевал. С ней внутри.

Сорок восемь минут.

Когда ставни открылись, а дверь выпустила её на верхнюю площадку Крайнего спуска, Ада увидела, что лестница теперь стоит по-другому. Не туда смотрит. Вниз уходила та же лестница, но гостевой дом съехал на два дома правее. Внизу была не пекарня, а аптека. Туман остался на месте.

Она вернулась в Корду через час и двадцать минут вместо часа. Мать стучала к ней в спальню. Ада крикнула, что спит, голосом, каким кричат во сне. Мать ушла. Ада сидела на полу чулана и думала о мальчике с корзиной хлеба.

\* \* \*

Ян пришёл на четырнадцатый день.

Ада ждала его у синей двери, внутри, в прихожей, и слушала. Сначала шаги по лестнице снизу — неуверенные, считающие. Потом шаги остановились перед дверью. Потом дверь открылась.

И закрылась.

Ада подождала. Шаги не возобновились. Она выглянула на площадку: никого.

Через минуту дверь открылась снова. На этот раз изнутри, из глубины дома, донёсся грохот, звон и голос, полный искреннего отчаяния:

— Ада!

Она побежала на голос. Голос шёл из кладовой.

Кладовая у гостевого дома была маленькая, без окна, с

полками до потолка, и на полках стояли банки. Варенье. Вишнёвое — Ада сама написала, что в гостевом доме всегда есть вишнёвое варенье для приезжих. Под потолком висели связки лука. Посреди кладовой стоял Ян. С банкой варенья в одной руке и связкой лука на плече, которая, видимо, упала на него сверху.

— Я открыл дверь, — сказал он очень спокойно. — Я вошёл. Я оказался здесь. Я вышел. Я открыл дверь снова. Я снова оказался здесь. Это четвёртый раз. Ада, что это?

Ада прислонилась к косяку. Ей было трудно говорить.

— Это... гостевой дом, — выговорила она. — Он, кажется, решил, что ты — гость.

— Я и есть гость.

— Гостей он отправляет в безопасное место. Пока хозяйка не скажет.

— Хозяйка, — повторил Ян. Он поставил банку на полку, снял с плеча лук и повесил его обратно на гвоздь, аккуратно, как вешают плащ. — А хозяйка у нас кто?

— Видимо, я.

— Видимо, — сказал Ян. — Тогда скажи ему.

Ада подошла и взяла его за руку. Просто так, чтобы вывести. Рука у него была холодная, мокрая от морских брызг, с жёсткими подушечками пальцев. Ада почувствовала это и перестала смеяться.

— Он со мной, — сказала она в потолок. Глупо. Как будто дом слушает.

Они вышли из кладовой в прихожую. Синяя дверь стояла открытой. Ян посмотрел на неё с подозрением.

— Если я сейчас выйду и войду, я окажусь в варенье?

— Не знаю. Давай не будем проверять.

Ян покосился на тёмный прямоугольник в стене, на месте зеркала.

— А если через неё? К вам?

— Не выпустит, — сказала Ада. — Рама выпускает того, кто через неё вошёл. Ты пришёл морем — морем и уйдёшь. Нас этому в десять лет учили.

— Нас тоже, — сказал Ян. — Я проверял, помнишь ли ты.

Она не выпускала его руку, пока они не вышли на площадку. Там отпустила. Он ничего не сказал.

\* \* \*

Тея ждала их внизу, у трёх ступенек в туман. Как будто знала, что придут. Наверное, соседи доложили, подумала Ада: из пустого дома вышли уже двое.

Тея оглядела Яна снизу вверх.

— Это кто?

— Он с той стороны, — сказала Ада. — Из моря.

— Из тумана?

— Из-за тумана. Там море. Его.

Тея долго молчала. Потом посмотрела на туман, на Яна, на Аду. На её лице не было ни удивления, ни восторга. Только усталость, которую Ада видела на лицах взрослых, — у матери после показа, у Неллы после ночной смены у станка.

— Значит, так, — сказала Тея. — Вы оба можете говорить, что всё это нарисовали. Я не знаю, правда это или нет. Мне без разницы. У меня в журнале два пропавших. — Она достала книжку и раскрыла её. — Дом старой Мадель — первого апреля. Рем, разносчик, — неделю назад. Оба ушли туда. — Она ткнула книжкой в туман. — Если вы такие всемогущие, найдите их.

Ада хотела сказать, что они не всемогущие. Что внутри они просто люди. Что у Яна список из одиннадцати пунктов и мокрые от брызг руки.

Ян сказал раньше неё:

— Найдём.

Ада посмотрела на него. Он смотрел на Тею. Спокойно, серьёзно, как человек, который только что взял на себя чужую работу и даже не заметил, что взял.

Тея захлопнула книжку.

— Посмотрим, — сказала она.

Мастер Орсо говорил так, когда это почти значило «да». У Теи это значило «нет». Ада это поняла.

## Глава 10. Капитан перед свадьбой

Ян

Лодка упала в одиннадцать минут первого.

Ян стоял у борта «Медной рыбы» с мотком мокрого каната в руках и смотрел вниз, на низкие сады. Под ними, сквозь толщу ночной воды, светились фонари. Рыбаки стояли между грядок и закидывали лески вверх. Отсюда, сверху, они были похожи на детей, которые пускают воздушных змеев наоборот.

Над садами шла лодка. Маленькая, рыбацкая, с одним парусом и фонарём на корме. Ян видел, как человек в лодке встал, перегнулся через борт и что-то крикнул вниз, кому-то в саду. Засмеялся.

А потом лодка просто перестала держаться за воду.

Она не перевернулась и не пошла ко дну, как тонут лодки в Вельте. Она провалилась. Вода под ней расступилась, как ткань, которую рвут, и лодка ушла вниз, сквозь нижнюю кромку моря, кормой вперёд, с фонарём, с человеком, с парусом. Сквозь воду. В воздух. В сады.

Ян слышал звук через секунду. Треск, удар, звон разбитого стекла — внизу была теплица. Потом крики.

Фонари в садах заматались, как светлячки, которых спугнули. Кто-то бежал. Кто-то кричал имя. Канат выскользнул у Яна из рук и шлёпнулся на палубу.

— Подбери, — сказали рядом. — Сейчас кто-нибудь споткнётся.

Нора стояла у борта, сунув руки в карманы куртки, и смотрела вниз так, как смотрят на дождь. Не равнодушно — привычно.

— Он... — Ян не мог подобрать слова. — Что с ним?

— Это Кеттль. — Нора прищурилась. — Его лодка. Он брал её у брата до полуночи. Каждую неделю берёт и каждую неделю обещает вернуть до полуночи. Обычно возвращает. — Она пожала плечами. — Сегодня, видно, засиделся.

— Он обещал вернуть лодку, — медленно сказал Ян. — До полуночи. И не вернул. И она...

— Упала, — сказала Нора. — Ну да.

Она посмотрела на него. Внимательно, сверху вниз, хотя была на полголовы ниже.

— Ты что, не с моря? Здесь это каждый ребёнок знает. Слово не держится — лодка не держится. Маленькая лодка — маленькое слово. Большой корабль — большое. — Нора кивнула на палубу у себя под ногами, на светлые доски «Медной рыбы». — Поэтому никто в здравом уме не даёт слово, которое не может сдержать.

Внизу, в садах, кто-то крикнул: «Живой! Нога только!» Фонари сбились в кучу у разбитой теплицы.

— Повезло, — сказала Нора. — Над садами низко. Если бы над колокольней — костей бы не собрали. — Она нагнулась, сама подобрала канат и сунула Яну в руки. — Сматывай.

вай. Петлями, не узлом.

Ян сматывал. Руки слушались плохо.

Он это написал. В пятнадцать лет, за клавиром, в восторге от собственной мысли. «Корабль держится на воде, пока держится обещание. Нарушенное слово — и судно падает». Он считал это лучшим из всего, что придумал. Мир, в котором верность — не красивое слово, а то, на чём ты буквально стоишь над пропастью.

Он ни разу не подумал, что над этой пропастью будет стоять какой-нибудь Кеттль, который засиделся у друзей.

\* \* \*

На «Медную рыбу» Ян попал накануне. Это оказалось проще, чем он думал, и стыднее.

Он догрёб от высокой стоянки до места, где корабль стоял на ночном якоре, и закричал снизу: «Эй, на борту!» Ему сбросили верёвочную лестницу. Он поднялся и сказал первому, кто подошёл, — это и была Нора, — что ищет работу на рейс. Что умеет вязать узлы и не боится высоты. Что он с побережья, с юга.

— С какого побережья? — спросила Нора.

Ян не знал, какие у его моря есть побережья. Он писал только про Порт Белых ступеней, высокую стоянку и сады.

— С южного, — повторил он.

Нора смотрела на него долго. Потом сказала: «Ну, узлы покажи», — и он показал. Три узла, лодочный, якорный и тот, которым Сава вяжет струны. Нора посмотрела на третий

и хмыкнула.

— Это не морской.

— Нет, — признал Ян. — Это скрипичный.

— Ладно, — сказала Нора. — Скрипичного у нас ещё не было. Капитану скажу, что ты мой. Спать будешь в канатном ящике.

Капитан не возражал. Капитан, кажется, вообще не заметил, что на борту лишний человек. Он был занят.

\* \* \*

Ивар был именно таким, каким Ян его писал, и совсем не таким.

Высокий, светлородый, с громким смехом и тёплыми руками. Он помнил всех пассажиров по именам — их было двадцать два — и каждому за ужином говорил что-нибудь отдельное. Старику с трубкой — про табак. Девочке, которая плыла к бабушке, — про звёзды. Женщине с двумя корзинами кур, которая не отходила от своего груза ни на шаг, — что её куры будут в порту раньше, чем она успеет по ним соскучиться. Его любили. На него смотрели так, как в Корде смотрят на хорошего лекаря.

За ужином на второй день пожилой пассажир, тот, с трубкой, поднялся с кружкой.

— За капитана! — сказал он. — И за свадьбу!

Все подняли кружки. Ивар тоже поднял. Улыбнулся — широко, хорошо. Сказал: «За свадьбу». Все выпили.

Ивар не выпил.

Ян видел это, потому что сидел напротив. Капитан поднёс кружку к губам, подержал и опустил. Полная. Потом заговорил с девочкой про звёзды.

После ужина Ян нашёл Нору на корме, у штурвала. Она проверяла курс по звёздам и что-то записывала в потрёпанную книжку огрызком карандаша.

— Капитан не любит тосты? — спросил Ян.

Нора не подняла головы.

— Капитан любит тосты.

— Он не пил за свадьбу.

Карандаш остановился. Нора посмотрела на него, и Ян увидел, что она решает что-то, что не касается курса.

— Слушай, Скрипичный, — сказала она. — Капитан у нас хороший. Лучший, с кем я ходила. Но про Селму его не спрашивай. Ладно?

— Почему?

— Потому что «Медная рыба» держится на его слове, — сказала Нора. — А о таком не спрашивают. Это как спросить у человека, который идёт по канату, не страшно ли ему.

Она отвернулась к звёздам. Ян постоял ещё, ожидая продолжения, но продолжения не было.

Волнуется, подумал он. Свадьба, ответственность, корабль. Конечно.

Но это слово уже не ложилось, как раньше. Оно было похоже на ноту, которую поёшь чуть ниже, чем надо, и сам этого не слышишь, пока кто-нибудь не поморщится.

На семнадцатый день он взял с собой Аду.

Не на «Медную рыбу» — туда он не рискнул бы. Просто в море. Она пришла к окну через туман, как в прошлый раз, и спустилась к нему в лодку. Не в корыто с высоким бортом — в стояночную, лёгкую, на которой он приплыл. И он повёз её на запад, из непрописанного, туда, где были огни.

Сначала она молчала. Сидела на носу, держась за борта обеими руками, и смотрела вниз.

Под ними был город.

Ян знал это, но одно дело знать. Под лодкой, под толщей тёмной воды, лежали крыши. Черепичные, мокрые, блестящие в свете уличных фонарей, которые горели там, внизу, как всегда. Колокольня поднималась почти до самой кромки, до неё можно было бы дотянуться веслом. Вокруг её шпиля медленно кружила стайка мелких рыб. В одном окне на чердаке горел свет. Кто-то там читал. Или шил. Или не спал, потому что над ним, в двух шагах, шла чужая лодка.

— Они нас видят? — спросила Ада шёпотом, как будто внизу могли услышать.

— Наверное. Снизу видно днища. Как облака.

— Облака с людьми.

Она перегнулась через борт. Ян машинально протянул руку, чтобы схватить её за кофту, но удержался. Она не падала. Она смотрела.

— Это красиво, — сказала она. — Это так красиво, что

больно.

— Я знаю.

— Ты это сделал.

Он ничего не ответил. Он смотрел туда, куда она ещё не смотрела. Над низкими садами, левее колокольни, в разбитой теплице лежала лодка. Вверх дном. С обломанной мачтой. Её ещё не убрали. Рядом с ней кто-то оставил фонарь, и он горел, освещая битое стекло.

Ада увидела это через минуту. Её лицо изменилось.

— Что это?

Ян мог сказать: «Крушение». Мог сказать: «Неудачно причалили». Мог промолчать и повернуть лодку.

— Это закон, — сказал он. — Тот, на котором держатся корабли. Человек обещал вернуть лодку до полуночи и не вернул. И она упала. Позавчера. Он сломал ногу.

Ада смотрела на теплицу. Ян смотрел на её профиль, на прядь, которую она не сдувала.

— Я его написал, — сказал он. Голос получился чужой. — Этот закон. Мне было пятнадцать. Я думал — это так красиво: мир, где слово держит. Буквально. Я думал, люди будут держать слово, потому что от этого всё зависит. А они... — Он не договорил.

— А они люди, — сказала Ада.

— Да.

Она повернулась к нему. Он ждал чего угодно. Что она скажет «ты не виноват». Или «ну так перепиши». Или «это

ужасно». Она сказала:

— Тея спросила меня, почему у Каменного двора нет навеса. Там под дождём стоят старики. Я не знала. Я нарисовала колодец и липы. Мне в голову не пришло, что они там стоят.

Ян кивнул. Она кивнула. Лодку медленно несло течением мимо колокольни, и рыбы кружили у шпиля, и в окне на чердаке погас свет.

— Мы с тобой, — сказала Ада, — два очень талантливых идиота.

Он засмеялся. Неожиданно, громко, на всё ночное море, так что где-то внизу, в саду, кто-то задрал голову. Ада засмеялась тоже, зажимая рот рукой.

\* \* \*

Обратно он грёб медленно. Ада сидела на корме, лицом к нему, и рассказывала про Рема и Мадель, про журнал Теи, про бочку с капустой, которая уехала в туман. Он рассказывал про Ивара, который не пьёт за свадьбу. Говорили тихо: над городом, под которым плывёшь, громко говорить не хочется.

— Он не хочет жениться, — сказала Ада.

— Он волнуется.

— Ян. Человек не пьёт за собственную свадьбу. Уходит от разговора. Его штурманша говорит: «Не спрашивай». — Ада загибала пальцы. — Это не волнение. Это когда ты обещал, а теперь не хочешь, но всем уже сказал. И отступить некуда.

Ян перестал грести.

— Если он не хочет... — сказал он медленно. — Если он откажется от свадьбы, клятва нарушена. «Медная рыба» держится на его клятве. На борту двадцать два пассажира. Восемь человек команды. Нора.

— И ты, — сказала Ада. — Иногда.

Вёсла висели над водой, и с лопастей капало. Ян смотрел на запад, туда, где на горизонте шли три огонька, один над другим. «Медная рыба» шла к Порту Белых ступеней. До свадьбы было тридцать две ночи. Он знал это точно: он сам вписал дату в партитуру, в торжественный финал, с литаврами.

— Это же просто волнение, — сказал он. Очень тихо. Сам себе.

Ада не ответила. Она смотрела на него, и в её глазах отражались огни затонувшего города, и она не спорила. От этого было хуже, чем если бы спорила.

Он снова взялся за вёсла.

Только у самой стены, у лестницы, когда Ада уже ступила на нижнюю ступень, он сказал:

— А если ты права?

Она обернулась.

— Тогда, — сказала Ада, — у тебя проблема размером с корабль.

И полезла вверх, к площадке, к окну, не держась ни за что, а он сидел в лодке и смотрел ей вслед. Тридцать две но-

чи. Двадцать два пассажира. Восемь человек команды. Одно слово, которое человек не хочет держать.

Он написал этот мир в пятнадцать лет и считал его лучшим, что придумал в жизни. Он до сих пор так считал. Это и было самое страшное.

## Глава 11. Не за тебя

*Ада*

— Он взял Лиса, — сказала Нелла.

Она стояла у печатного станка спиной к Аде и мыла валик. Тёрла его тряпкой с керосином, медленно и сильно, так что валик скрипел. Керосином пахло на всю печатню.

— Кого?

— Лиса. Рыжего, из четвёртого класса. Который набирает с ошибками и называет это «авторским стилем». Орсо взял его на место. Сегодня утром.

Ада стояла с сумкой на плече. Она пришла сказать про Яна — не всё, конечно, но хоть что-нибудь: что познакомилась с человеком, что он смешной и проверяет узлы трижды. Она несла это через весь город, как несут горячий пирог, прикрывая от ветра.

— Но он же сказал «посмотрим», — сказала она. — Два раза. Ты сама говорила, у Орсо «посмотрим» — это почти «да».

— Почти, — сказала Нелла. Валик скрипнул.

— Что случилось?

Нелла положила тряпку. Повернулась. На скуле у неё было чёрное пятно, а глаза были красные. Не от керосина.

— Мой пробный оттиск был смазан, — сказала она. — Левый нижний угол. Орсо посмотрел и сказал: «Торопилась».

Я торопилась. Я допечатывала его в два часа ночи. Знаешь почему?

Ада не знала. А потом, очень медленно, начала догадываться.

— Вчера в девять вечера, — сказала Нелла, — сюда, в печатню, пришла твоя мама. Сама. Сабина Ровель. В печатню. Я стою вот тут, в фартуке, у меня на станке пробный лист для Орсо, свежий, сырой. А она входит в перчатках и говорит: «Нелла, милая, Ада ведь у тебя? Она сказала, что вы до десяти работаете над календарём». А ты мне что сказала? «Если мама спросит, я у тебя».

— Нелла...

— Я сказала: «Она вышла. За красками. Сейчас вернётся». И твоя мама сказала: «Тогда я подожду». И села. Вон на тот табурет. В перчатках. — Нелла показала на табурет у стены. — Через двадцать минут она сказала: «Что-то её долго нет. Пойдём, поищем, тут же лавки рядом». И мы пошли. По Набережной. До Кожевенного. Обратно. Она держала меня под руку и спрашивала, как мои успехи, и рассказывала, какая ты стала скрытная. А я говорила: «Наверное, зашла в другую лавку». Час. Целый час. Потом твоя мама сказала: «Наверное, она уже дома, вы разминулись», — и уехала. А я вернулась сюда. Лист на станке подсох неровно. Пришлось переделывать. В два ночи. Руки тряслись.

Она замолчала. Станок тикал, остывая.

— Он взял Лиса, — повторила Нелла. — Я год к этому

шла.

\* \* \*

Ада стояла посреди печатни, и первое, что она почувствовала, был не стыд. Была злость. Горячая, быстрая, детская, — та, что всегда приходила первой и всегда была не по адресу.

— Я не просила тебя ходить с мамой по Набережной.

Она услышала, как это прозвучало, ещё не договорив. Поздно.

Нелла смотрела на неё. Лицо у неё не изменилось.

— Ты просила меня сказать, что ты у меня. Я сказала. А дальше что я должна была сделать? Сказать твоей маме: «Ой, знаете, я соврала, её тут нет, и где она, я понятия не имею»? Тогда бы она испугалась. По-настоящему. Пошла бы к твоему отцу. Ты этого хотела?

Нет. Ада не этого хотела. Она хотела, чтобы её не искали. Чтобы мать не пришла. Чтобы Нелла сказала одну фразу — и всё. Одна фраза ничего не стоит. Ада привыкла, что одна фраза ничего не стоит.

— Я поговорю с Орсо, — сказала она быстро. — Отец знает Орсо, он печатал у него каталог. Если отец попросит...

И осеклась. Потому что увидела, как изменилось лицо Неллы. Не стало злым. Стало усталым.

— Вот, — сказала Нелла тихо. — Вот это.

— Что?

— Ты сейчас пойдёшь и купишь мне место у Орсо своей

фамилией. Через папу. И я его получу. И буду тебе должна. Всю жизнь. Каждый раз, когда я буду стоять у станка Орсо, я буду знать, что это не я его получила, а Леон Ровель попросил. И ты будешь знать. И Орсо. И Лис.

— Я не так...

— Ты всегда так, — сказала Нелла. — Ты даже не замечаешь. У тебя есть ключ от любой двери. Ты не виновата, что он у тебя есть. Но ты ими пользуешься, а потом говоришь, что ненавидишь, когда фамилия открывает двери. — Она снова взяла тряпку. — Я не твоё прикрытие, Ада. Больше нет. Хочешь куда-то ходить по вечерам — ходи. Только не через меня.

\* \* \*

Ада ушла.

Она вышла из печатни, поднялась по лестнице, прошла через изобразительный зал, где на неё оглянулись двое из её класса, и вышла на Ступени. Там было солнце — первое настоящее солнце в этом апреле, — и на ступенях сидели ученики, жмурились, ели булки. Ада прошла мимо них, спустилась и пошла прочь, к реке. Быстро, не разбирая дороги, как всегда уходила.

Нелла называла это «срывом с крючка».

Ада дошла до моста, встала у перил и смотрела в воду, пока злость не начала выходить. Она выходила медленно, как вода из раковины с засорившимся стоком, — и под ней оказалось то, что было с самого начала, только Ада не хотела

смотреть.

Час. Нелла ходила с её матерью час. Под руку. И говорила: «Наверное, зашла в другую лавку». А Ада в это время сидела в лодке над затонувшим городом, смотрела на рыб у колокольни и смеялась.

Бочка с капустой тётки Лин. Рем с корзиной хлеба. Нелла с пробным листом в два часа ночи. Ада везде проходила, как проходит ход по городу: легко, красиво, по-своему. А за ней что-то съезжало в туман.

Она простояла на мосту долго. Потом повернулась и пошла — не домой. В Нижний город.

\* \* \*

Печатня Орсо была на Кривом переулке, в полуподвале, под вывеской, на которой буквы были набраны деревянным шрифтом и прибиты гвоздями. Внутри было жарко, гремели три станка, и пахло так же, как у Неллы, только сильнее. Мастер Орсо оказался маленьким, лысым, в кожаном фартуке до пят. Руки у него были чёрные по локоть, как будто он не мыл их тридцать лет.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.